Проклятие безумной царевны

Автор:
Елена Арсеньева

Проклятие безумной царевны

Елена Арсеньевна Арсеньева

Анастасия. Исторический детектив о Великой княжне #3

Несколько десятков лет в Казанской психиатрической больнице содержалась женщина, уверявшая, что она – чудом спасшаяся великая княжна Анастасия Романова. У нее имелись немалые основания верить в это! Хотя она и не подозревала, что стала всего лишь пешкой в игре тех, кто осуществлял охрану императора Николая II и его семьи. Но «пешка» была живым человеком, со своими страстями, любовью и ненавистью, которые в конце концов и привели ее на путь страданий, почти таких же, которые довелось испытать подлинной Анастасии Романовой…

Елена Арсеньевна Арсеньева

Проклятие безумной царевны

© Арсеньева Е.А., 2018

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2018

Никто никогда не узнает, что мы сделали с ними.

П.Л. Войков, член Уральского губернского совета, 1918 год

От автора

Судьба детей последнего русского императора всегда будет порождать множество догадок и домыслов хотя бы потому, что слишком велика в нас вера в чудо, надежда на спасение невинно пострадавших девушек и их младшего брата. Именно поэтому так много появлялось людей, с большим или меньшим успехом выдававших себя то за одного, то за другого. Исследователи и историки до сих пор спорят – и никогда, похоже, не придут к единому мнению! – была ли хотя бы крупица правды в словах этих самозванцев и самозванок.

Кому-то кажется странным, что самой популярной оказалась среди самозванок личность великой княжны Анастасии Николаевны. На самом деле для этого есть как минимум две причины: явная подтасовка фактов во время поисков останков семьи императора и факт бегства Анастасии… то ли из Екатеринбурга, то ли, по другим документам, из Перми.

Среди множества женщин, выдававших себя за великую княжну Анастасию Николаевну, особенное внимание привлекают три. Это Наталья Билиходзе, Анна Андерсон и Надежда Иванова-Васильева. Эти книги – попытки исследовать их судьбы, рассказать о том известном и неизвестном, что так волнует воображение людей, преисполненных сочувствия к юной великой княжне и горячей веры в воскресение «мертвой царевны».

Что горит во мгле?

Что кипит в котле?

А. Пушкин

Россия, Россия, Россия!

Безумствуй, сжигая меня!

А. Белый

Часть первая

Надежда

Пролог

Казанская СПБ[1 - СПБ – Специальная психиатрическая больница. Здесь и далее прим. автора.], 1960 год

Ласковый шепот шелестит над ухом и прерывает полусон:

– Доброе утро, ваше высочество. Благоволите пробудиться, пора вставать…

– Кто это? – тихонько спрашивает Анастасия Николаевна.

– Это я, ваша фрейлина Валерия Михеева, ваше императорское высочество! Вас ждут в тронном зале. Извольте вставать!

Громко скрипит дверь, и раздается пронзительный голос:

– Подъем, психи, подъем! Шевелитесь, уроды! Михеева, ты чего тут топчешься? А, наша царевна не хочет глазки продрать да пойти умыться? Ничего, сейчас я ее умою!

Медлить нельзя. Иначе ведро ледяной воды, которое принесено специально для такого случая, будет выплеснуто на Анастасию Николаевну, в ее постель, и тогда придется спать на сыром, потому что поменять белье никто из санитаров и не подумает. Такое уже происходило дважды, поэтому добрейшая Валерия Сергеевна и норовит разбудить великую княжну до того, как ворвется эта ненормальная санитарка Валерьянова и начнет наводить порядок.

Анастасия Николаевна резко открывает глаза, поднимает голову:

– Доброе утро, Виктор Валерьяныч.

– О! Совсем спятила наша царевна! – с удовольствием сообщает санитарка всей палате. – Или заспала, что меня Клавдией зовут? Клавдией Павловной? А фамилия – Валерьянова!

– Видите ли, Клавдия Павловна, – говорит Анастасия Николаевна чрезвычайно вежливо, – вы до такой степени напоминаете мне одного гражданина, который некогда проживал в Симферополе, что я вас иногда путаю.

– И как же это возможно – мужчину с женщиной перепутать? – хохочет Клавдия, которую хлебом не корми, только дай над чем-нибудь похохотать.

У нее это называется – поржать. Ржет она, как правило, оскорбляя или причиняя боль. Анастасия Николаевна, конечно, удивлялась бы ее самозабвенной зверо-жестокости, если бы не навидалась в своей жизни великого множества таких, как она. Причем почему-то именно в психиатрических лечебницах. С другой стороны, как раз в этих лечебницах и прошла большая часть ее жизни, от восемнадцати лет до… сколько ей теперь? Который нынче год от рождества Христова?

Впрочем, это неважно.

Анастасия Николаевна поднимается, всовывает ноги в разношенные тапки, надевает халат и отходит подальше от кровати. Теперь, если Клавдия все же решит плеснуть в нее холодной водой, постель останется сухой!

– А вы попытайтесь вообразить, вас можно перепутать с этим гражданином, – говорит Анастасия Николаевна мягко.

Воображение у Клавдии отсутствует как таковое. Его забыли втемяшить в эту круглую, как бильярдный шар, словно бы на токарном станке выточенную, головенку с жидкими белобрысыми волосиками, когда с усилием впихнули туда некоторое количество мозга. Воображение ей заменяет тупая, неудержимая жестокость.

Удивительно ли, что Клавдия стала санитаркой именно в психиатрической лечебнице? Вполне можно допустить, что она понимает, что и сама психически ненормальна. Легко допустить, что она тайком таскает предназначенные для успокоения особо буйных таблетки и глотает их втихомолку, чтобы самой окончательно не слететь с катушек. Ах, как бы Анастасии Николаевне хотелось подтолкнуть Клавдию, чтобы все-таки слетела, да и продолжала лететь, как сказал бы Митя Карамазов, головой вниз и вверх пятами! Такой «полет», окажись его свидетелем кто-нибудь из больничного начальства, мог бы положить конец карьере этой человеконенавистницы. Скажем, ее выгнали бы вон и таким образом прекратили ее издевательства над беззащитными людьми…

И тут, словно Господь, наконец, решил внять хоть одной из молитв Анастасии Николаевны, она краем глаза замечает: в палате, среди броуновского движения линялых пижам (больные, проснувшись, бредут в уборную или в умывалку, а некоторые уже возвращаются оттуда), возникает белоснежный докторский халат.

Чудеса! Повезло необычайно, ибо палату навестил сам начальник отделения Зосимов. У него всегда к лицу приколочена деревянная маска профессионального внимания, хотя, по сути дела, он глубоко равнодушен ко всем больным, от буйного Филиппова до тишайшей и безобиднейшей «фрейлины Михеевой», от «Пещерного льва» (есть тут один такой старикашка, который считает, что он – лев из книги Жозефа Рони-старшего «Пещерный лев») до чудом спасшейся великой княжны Анастасии Николаевны Романовой. Но Зосимов хотя бы не получает удовольствия от жестокости и всегда одергивает санитаров и санитарок, если те чрезмерно распускают руки или языки.

Клавдия стоит к нему спиной, она его не видит. Теперь надо успеть «столкнуть» ее раньше, чем рамолик Файберг заблажит: «Здравия желаем, товарищ начальник!» – и заставит ее обернуться.

– Дело в том, Клавдия Павловна, – снова говорит Анастасия Николаевна со всей возможной любезностью, – что упомянутый Виктор Валерьяныч Павлов – вот видите, даже ваши отчества и фамилии похожи! – забавлялся тем, что заставлял больных избивать друг друга. А того, кто отказывался, избивал сам до полусмерти. Его выгнали из больницы, где он таким образом «развлекался», и он сделался доносчиком. Выдал прекрасного доктора Лаврентьева, которого

расстреляли за участие в выдуманном контрреволюционном заговоре. Он был садистом, этот так называемый санитар. А вы тоже наслаждаетесь издевательствами над больными и беспомощными людьми. Вы тоже садистка, как и Валерьяныч! Вам бы в концлагере фашистском карьеру делать!

Глаза Клавдии, обычно издевательски прищуренные, едва не лезут из орбит. Рот разинут. И вот происходит то, чего следовало ожидать! Клавдия взмахивает ведром – и поток ледяной воды обрушивается на Анастасию Николаевну. Дыхание перехватывает… На счастье, она успевает отвернуться, поэтому удар приходится в спину. Правда, на ногах удержаться не удается – Анастасия Николаевна валится на колени и не успевает подняться: Клавдия бьет ее ведром по голове и орет:

– Капец тебе, царевна!

До Анастасии Николаевны долетает резкий голос Зосимова:

– Отойдите от нее! Прекратите немедленно, Павлова! Чтобы я вас больше здесь не видел!

Мысли мутятся. Больно, ох как же больно Клавдия ее ударила… эта боль словно бы пробивает мозг насквозь, и Анастасия Николаевна летит, летит в черную бездну… она уже не понимает, не помнит того, что гравировалось в ее памяти последними мучительными годами, но с поразительной точностью поднимается из темноты забвения все то, что она знала о себе раньше, в юности, и что однажды забыла, как ей казалось, навеки!

* * *

Как же он назывался, тот городишко неподалеку от Вятки? Как же он все-таки назывался?…

Когда мы туда приехали в 1912 году, мне едва исполнилось одиннадцать, а прожили мы там всего-то года полтора. Отец мой – или человек, который называл себя моим отцом, – был инженер-путеец: он участвовал в сооружении разных железных дорог по всей России, поэтому мы довольно часто переезжали с места на место. Станции, полустанки, городишки и города тасуются в моих

воспоминаниях, будто черно-серо-белые картинки.

Все эти станции и городишки были неприглядными, неустроенными, грязными да пыльными. Сколько себя помню, такими же оказывались и временные жилища наши. Сходя с поезда или с телеги в новых местах, я оглядывалась с нетерпеливым ожиданием: а вдруг им (то есть людям, которых мне было велено называть отцом и матерью, этим Ивановым) надоело возиться с таким вредным, непоседливым, непослушным и строптивым ребенком, как я, и они решили вернуть меня туда, где я жила раньше, где мне было так хорошо, где я была счастлива?! Откуда меня вырвали, будто растение – из родной почвы, но не нашли живой земли, в которую его можно было бы пересадить, и оно мотается по белому свету этаким перекати-полем, корни его сохнут, ему все труднее и труднее прижиться на новом месте. Оно хочет обратно, но нет, снова оказывается в чужом, временном доме, и рядом по-прежнему Владимир Петрович и Серафима Михайловна Ивановы. Но тех, с кем мне было так хорошо, тех, кого я так любила, звали иначе! Их звали Федор Степанович и Надежда Юрьевна Филатовы. И у меня были сестры и брат: Лариса, Ирина, Евдокия и Сережа.

О, какая же это была прекрасная, какая яркая, какая праздничная жизнь! В каком уютном доме мы жили! Какие у нас были слуги! Какая вкусная еда… никогда нам не давали отвратительный гороховый суп, который я ненавижу больше всего на свете и который мы с Ивановыми едим так часто! А главное, мы все время играли в самую чудесную игру на свете, где мы были вовсе не мы, а царская семья. Папу – Федора Степановича – по правилам этой игры звали Николаем Александровичем и он был императором всероссийским, маму – Александрой Федоровной, она была императрицей, ну а мы, Лариса, Евдокия, Ирина и я, были царевнами: Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией. Да, меня там, в мире этой чудесной игры, звали не Надей, как здесь, а Настей или Натой. Малыш Сережа звался наследным царевичем Алексеем Николаевичем. И нас учили вести себя не так, как ведут обычные люди, а как ведет себя настоящая царская семья! Все очень старались, я тоже, но у меня, сказать по правде, получалось хуже, чем у других. Мы учили иностранные языки. Французский мне давался легко, а вот английский и немецкий в голове не укладывались. Но я не унывала. Мне казалось, что, если я еще немного подрасту, все обязательно получится!

И вдруг эта чудная жизнь кончилась. Кончилась разом – невыносимо, пугающе внезапно! Исчез роскошный, волшебный мир, в котором я была воспитана…

Однажды, как всегда, я выпила на ночь молоко и уснула в своей постели – мы спали в одной комнате с Ириной, то есть Машей. Помню, что у молока был какой-то странный привкус, я куксилась, не хотела его пить, но мама – Надежда Юрьевна – настояла. Потом мне стало сниться, будто я гуляю в каком-то саду, где растут белые, с огромными лепестками цветы, которые пахнут приторно-сладко и ужасно противно. Я отворачивалась от них, но какой-то незнакомый человек срывал эти лепестки и настойчиво прикладывал их к моему лицу. Я хотела его оттолкнуть, но чувствовала, что рядом есть еще какие-то люди, которые держат меня и помогают этому человеку прикладывать ко мне лепестки. Их запах был настолько мерзок, что мне вдруг показалось, будто от него разорвется сердце! Я затихла, собираясь с силами, а потом рванулась так, что и человек с лепестками, и его помощники словно бы разлетелись от меня в разные стороны!

Я открыла глаза – да так и обмерла. Я находилась не в своей постели и даже не в саду, а в какой-то комнате, сплошь затянутой белыми простынями. Горели яркие лампы. Какие-то люди в белых одеждах и белых колпаках, с лицами, до глаз закрытыми белыми повязками, стояли вокруг, держа в руках ослепительно сверкающие ножи и какие-то крючки. С одного ножа капала кровь, и я почувствовала острую боль в ноге.

«Они хотят отрезать мне ногу!» – пронзила меня страшная догадка. Я рванулась уже вовсе с нечеловеческой, истерической силой, я билась, кричала так, что надорвала горло.

– Держите ее! – командовал кто-то. – Держите крепче! Дайте еще хлороформ!

Мне зажали рот комом ваты, на который лили какую-то отвратительную жидкость из коричневого стеклянного флакона. Запах, тот же мерзкий запах из сна заполнил мои ноздри, гортань, легкие, я захлебывалась им, я задыхалась, но продолжала вырываться и даже пыталась кричать:

– Не дам ногу! Не дам!

– На нее не действует наркоз, – раздался чей-то голос. – Довольно. Вы убьете ее. Толку с нее все равно не будет. Довольно!

И тут я перестала видеть, слышать, ощущать.

Не знаю, сколько я спала, однако, проснувшись, не увидела ни страшной белой комнаты, ни сада, ни спальни, где стояли наши с Ириной кровати. Исчезло все, что окружало меня прежде! Я проснулась в чужом доме, в какой-то чужой жизни, рядом с чужими людьми, которые уверяли меня, будто они мои родители, а меня зовут Надей Ивановой. Я не верила, не верила, я не хотела смиряться! Не знаю, что происходило в белой комнате, почему меня увезли от Филатовых, почему отдали Ивановым.

Это произошло три года назад. Я сначала ничего не понимала, и плакала, и звала тех, кого лишилась, и твердила: «Я хочу к маме и папе! Верните меня к ним!» А когда Владимир Петрович и Серафима Михайловна уговаривали меня, умоляли успокоиться и твердили, что это они – мои отец и мать, я начинала кричать, что они просто разбойники, которые украли меня у моей настоящей семьи. Меня очень трудно было утихомирить.

Один раз я сбежала от Серафимы Михайловны, когда мы с ней гуляли, и высказала первому попавшемуся городовому все, о чем болела и чем страдала моя детская душа. Слушал он меня очень внимательно, все кивал да приговаривал:

– Тише, тише, барышня, вы уж не переживайте так сильно, Христа ради! И плакать не надо, от слез глазки слепнут!

А я, чувствуя его сочувствие и доверие, жаловалась еще более пылко.

Наконец прибежала Серафима Михайловна и чуть не упала в обморок, поняв, что я все, все выложила этому городовому. А я смотрела на него с такой надеждой! Я ждала, что вот сейчас он отнимет меня у Серафимы Михайловны и отвезет в Москву или Петербург (я помнила, что раньше Филатовы жили то там, то там).

Однако ничего подобного не случилось. Городовой снял папаху, вытер ею вспотевший лоб и сказал Серафиме Михайловне:

– Ой, сударыня, такая девочка вас до беды доведет. Это что ж за голова у ребенка, что за мысли?! Опасные домыслы, вот что это такое! Не иначе как черт ее подзуживает, за язык тянет! Вы ей или рот зашейте, чтобы не болтала чего не надо, или к врачам сведите. Пусть ей мозги лекарствами прочистят. Надо ж

такое измыслить, да кому?! Дитяти малому!

Потом он наклонился ко мне и проговорил с жалостью:

– Барышня, держи язычок за зубами, а не то посадят тебя в глубокую яму, а сверху решеткой накроют да через ту решетку будут кусочки бросать, будто дикому зверю. Так всех сумасшедших содержат, а ты, беда моя, не в своем разуме. Поняла?

Я очень живо представила себе эту картину – да так и хлопнулась без чувств.

Очнулась в постели. Рядом сидела Серафима Михайловна и плакала. Она взглянула на меня с опаской, словно боялась, что сейчас я снова начну буянить, но я только спросила:

– Мамочка, ты посадишь меня в яму?

– Да что ты, миленькая, да Христос с тобой! – зарыдала она, растроганная моим обращением. – Разве я отдам кому-нибудь мою родную доченьку?

– Но ты же отдавала меня раньше этим Филатовым! – упрямо крикнула я, но тут рядом появился отец – Владимир Петрович – и сказал:

– Не было никаких Филатовых, понимаешь, Надюша? Не было! Это был только сон. Вернее, бред! Ты болела, очень тяжело болела, у тебя менингит был, вот и снились тебе всякие странные вещи. Мы уж не верили, что ты выздоровеешь, думали или умрешь, или в уме повредишься. На счастье, ты выздоровела… но, видно, не совсем, вот тебя эти сны и мучают. Но если будешь снова об этом думать, то опять заболеешь и тогда уже никогда не выздоровеешь, вовсе обезумеешь. Поэтому, Наденька, будь умницей и лучше помалкивай. Чем меньше об этом будешь говорить, тем быстрее забудешь. И станешь хорошей девочкой – здоровенькой, веселенькой, крепенькой. Как все!

Как все? Мне не хотелось быть как все. Эти сны о Филатовых и о царской семье – были они снами или явью? Мне хотелось верить, что все происходило со мной наяву! Разве сны бывают такими яркими, такими живыми? Я ведь помнила даже, как пахли булочки с изюмом, которые нам подавали на завтрак, я помнила, с

каким звуком отворялось окошко в нашей с Ириной комнатушке, как пахло жасмином из сада…

Но если это был не сон, если это была явь, почему меня вырвали из нее? Я не способна была этого понять. И поделать ничего не могла. Оставалось смириться, оставалось только признать, что взрослые говорят правду. Мне все снилось!

А комната, страшная белая комната, и нож, с которого капала кровь? На моей ноге, около большого пальца, остался шрам. Родители сказали, что накануне болезни я поранилась об осколок стекла, и видение белой комнаты – это тоже был бред, вызванный менингитом.

Так ли это? Неизвестно.

Я все еще плакала ночами, но время брало свое. Постоянные переезды, тяготы дорожные отвлекали от ненужных и болезненных воспоминаний. Черт – тот самый, который меня подзуживал и за язык тянул – от меня, похоже, отступился.

Я постепенно привыкла называть Серафиму Михайловну мамой и даже мамочкой. Я росла и почти находила некий интерес в жизни у Ивановых. Особенно интересно было учиться. Правда, мама учила меня дома, потому что из-за наших разъездов я должна была бы постоянно менять гимназии: дольше чем на год мы ни в одном городе не задерживались. Спасали книги! У нас их было множество, они переезжали с нами с места на место, да и в новых городах мы с мамой первым делом шли в публичную библиотеку, так что я постоянно была погружена в мир книг – такой же вымышленный, отрадный, тревожный и желанный, как тот, из моего сна…

Я любила не только читать новые, но и перечитывать старые книги. Мои самые любимые были аккуратно увязаны в стопки, которые кочевали по городам. Это были прежде всего рассказы Джека Лондона. Они тревожили меня тем, что речь там шла о невозможном, нереальном, несбыточном. Таким же несбыточным и несбывшимся был тот сон, который я не могла забыть, хотя поклялась родителям выкинуть его из головы.

Потом – может быть, слишком рано для своих лет! – я начала читать Тургенева. Больше всего мне у Тургенева нравились вовсе не «Вешние воды» или «Первая любовь», как следовало бы ожидать. Меня просто сразил роман «Накануне»! Я

мгновенно влюбилась в Инсарова – черноглазого, черноволосого, бледного, загадочного, гордого, красивого… Я начала бредить Болгарией. Даже взяла в библиотеке русско-болгарский словарь и вознамерилась ехать в Болгарию и освобождать братьев-славян от турецкого ига.

Впрочем, отец поднял меня на смех и рассказал, что Болгарию освободили еще в прошлом веке.

Я так расстроилась, что даже заплакала. Отец тогда сказал, что в мире есть еще очень многое, что нуждается в улучшении, что надо хорошо учиться, выбрать какую-нибудь почетную, необходимую людям профессию, например, стать врачом или учительницей и спасать русский народ от безграмотности и темноты.

– Ты же только в романы с головой ныряешь, – сказал отец с добродушной усмешкой, – а газет не читаешь. Читала бы – все про свой родной русский народ знала бы, а не только про болгарский.

И вдруг он словно подавился. Я заметила, с каким укором и страхом взглянула на него мама. Отец скомкал разговор и ушел из комнаты. А я внезапно осознала, что и в самом деле совершенно не читаю газет. И никогда не читала! Более того – в нашем доме они почему-то не водятся. Только какие-то специальные путейские, отцовские, невыносимо скучные. А обычные газеты, которые читают все нормальные люди, всякие там «Ведомости» или «Вести» – почему я не читаю их? Именно поэтому я ничего не знаю о том, как живет народ. В самом деле, наверняка и в России множество бед, которые необходимо поправлять, а в Болгарию для этого ехать вовсе не надобно.

Порешила я назавтра же сходить в публичную библиотеку и просмотреть несколько газетных подшивок. Однако не удалось: заболела мама, мне пришлось сидеть дома, ухаживать за ней, а потом отец пришел с направлением на новое место службы – и мы уехали.

Теперь мы оказались в маленьком городке неподалеку от Вятки. Отец работал там на перестройке «чугунки» – так называлась тогда железная дорога – от этого городишки до Вятки. Как же он назывался?… Нет, не вспомнить! В моей памяти он остался Угрюмском. Он и в самом деле был угрюмым, неприветливым, невзрачным.

Там даже не оказалось публичной библиотеки, вот какая это была глухомань! Ох, что за тоска меня брала… Улицы еле-еле освещались керосиновыми фонарями. Зимой на них наметало столько снегу, что огонек невозможно было разглядеть. А от ветра и дождя фонари и вовсе гасли, причем очень часто. На улицах такая грязища стояла, что ни проехать ни пройти. Летом эта грязь превращалась в едкую пыль, от которой многие начинали задыхаться. Даже коровы, которые свободно шлялись по улицам, кашляли, такая пылища была в городе! Придорожная трава и листья на деревьях в середине лета покрывались серым густым налетом.

Единственной пользой для нас в этом городе было то, что жили мы в казенной квартире, за которую не надо было платить. Правда, она не вся находилась в нашем распоряжении: две комнаты были отведены для сослуживцев отца, которые иногда приезжали в Угрюмск по своим путейским делам. Тогда мама готовила для них, а потом мы с ней убирали их комнаты. Вообще всю домашнюю работу мы с мамой делали сами: прислугу в Угрюмске найти было, конечно, можно, однако вся она оказывалась бестолковая, криворукая да еще и вороватая вдобавок.

И вот как-то раз один из этих приезжих сослуживцев отца, здороваясь со мной, посмотрел на меня особенно внимательно и сказал:

– А ведь я тебя где-то видел, Надюша.

– Ну что вы! – сдавленно проговорила мама, резко побледнев. – Где вы могли видеть мою дочь, если мы сегодня встретились впервые? Пойдемте, я покажу вам вашу комнату.

Он послушно ушел, и эти три дня мама делала все, что могла, лишь бы я ни разу не оказалась рядом с этим человеком. Честное слово, я не обратила бы внимания на его слова, но мама так старалась оберегать меня от него, что я почувствовала неладное. Любопытство мое было возбуждено и разожжено. А я всегда оказывалась бессильна перед своим любопытством!

Однако подойти к гостю мне удалось только в день его отъезда, когда он сел на извозчика и выехал со двора. Здесь мама уже не могла меня увидеть.

Я бросилась наперерез пролетке, вынудив возчика остановиться, и крикнула:

– Расскажите, где вы меня раньше видели?

Гость уставился изумленно, а потом рассмеялся:

– До чего же ты любопытная! А знаешь, что любопытной Варваре на базаре нос оторвали?

– Ну где вы меня видели? – нудила я, пропустив печальную историю злосчастной Варвары мимо ушей и продолжая бежать рядом с пролеткой, благо старенькая лошадка трусила неспешно, не делая попыток прибавить ходу. – Ну где?! Ну скажи-ите!

– Вообще-то я обещал твоей матери ничего не рассказывать. Не знаю, почему она так обеспокоена твоим сходством с Анастасией Николаевной, – нерешительно сказал гость.

– С какой Анастасией Николаевной? – удивилась я.

– С великой княжной, младшей царевной, – пояснил гость. – Неужели ты слышишь об этом впервые? Странно. Разве люди настолько невнимательны, что тебе никто об этом не говорил? Ты очень похожа на нее. Вот, держи.

Он вынул из саквояжа и сунул мне газету, сложенную вчетверо, а потом ткнул извозчика в спину:

– Погоняй, братец! Поезд меня ждать не станет. Прощай, Надюша.

Я ничего не ответила. Я стояла, уставившись на фотографию, помещенную на этой смятой газетной странице. На фоне красивого белого дворца были изображены четыре девочки, одетые в белые платья.

Сердце у меня замерло. Девочки были сфотографированы довольно крупно, и я хорошо различала их лица. Я их узнала сразу, это были они, героини моих снов: Лариса, Евдокия, Ирина… Филатовы! А рядом с ними кто? Что за девчонка? Вроде бы я ее тоже где-то видела…

Под фотографией было написано: «Их Императорские Высочества Великие Княжны в Ливадии. Слева направо: Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия Николаевна».

Я не могла оторвать глаз от снимка, а в ушах глухо, словно прорываясь сквозь наслоения забвения, звучал женский голос, голос Надежды Николаевны, моей мамы… то есть той женщины, которую я считала мамой раньше: «Надюша, ты должна помнить, что тебя зовут теперь Анастасией. А мы будем звать тебя Настей или Натой».

Мне вдруг показалось, что я раздвоилась. Одна «я» стоит на пыльной улице Угрюмска, уставившись в газету, а другая «я» смотрит со страниц этой газеты на себя же, стоящую на пыльной улице Угрюмска. Меня словно тащило в разные стороны!

– Эй, пошла с дороги! – закричал кто-то, и я очнулась, оглянулась.

На меня надвигался воз с дровами, а гнал меня прочь сердитый мужик в треухе.

Я метнулась в сторону, свернула в какой-то проулок, ища место, где можно было еще раз рассмотреть газетную страницу. Может быть, там написано что-нибудь об этих девочках, об Анастасии… обо мне?…

Что всё это значит? Может быть, родители мне солгали, и мои сны не были снами? Может быть, на этой фотографии – мои сестры, моя семья, из которой меня украли, подсунув вместо меня эту другую девчонку, Анастасию?

В ту минуту я напрочь забыла, что Филатовы только зачем-то изображали царскую семью, а не были ею на самом деле! Рассудок мой словно помутился в бессильной попытке понять происходящее.

Наша старуха соседка рассказывала, что лешие крадут детей у родителей и подсовывают вместо них в колыбели своих детенышей, которые называются обменышами. Может быть, меня украли и подменили Анастасией? Или это я – обменыш, которого подложили в чужую колыбель, а Анастасию украли?

Невозможно описать ту путаницу, которая учинилась в моей голове, ту кашу, которая там варилась! Заплетаясь в своих мыслях-домыслах, я брела невесть куда, не замечая дороги, как вдруг кто-то схватил меня за плечо и крикнул:

– А ну стой! Ты кто такая? Зачем на нашу улицу зашла?

Я огляделась. Назвать сборище этих беспорядочно лепившихся друг к дружке, покосившихся строений улицей можно было только в шутку, да и то очень злую. Даже для такого медвежьего угла, как Угрюмск, это место выглядело захолустьем.

Рядом стояли мальчишки примерно моих лет: босоногие, в линялых косоворотках, в заплатанных штанах, с холодным, недоверчивым прищуром голодных глаз. Один из них, стриженный в неровную «скобку», с такими грязными волосами, что цвет их был неразличим, и остановил меня.

Я стряхнула со своего плеча его чумазую, в цыпках руку и буркнула:

– Не смей меня трогать, понял?

– А то что? – полюбопытствовал мальчишка, и глаза его прищурились еще острей. – Ишь какая барыня – не замай ее!

И тут тот самый черт, который, как я полагала, обо мне позабыл начисто, вдруг высунулся из своих адских бездн и дернул меня за язык. Да уж, подзудил так подзудил!

– Я не барыня! – надменно проговорила я. – Я – царевна Анастасия! Вот мой портрет!

И я показала ему газету.

– Где? – спросил он, разглядывая фотографию. – Это что за девки?

– Да тут же написано! – воскликнула я. – Читай! Ты что, неграмотный?

На миг в его глазах мелькнуло что-то беспомощное, и я поняла, что он и в самом деле неграмотный. Мне даже жалко его стало. Нет, ну правда – оказаться лишенным такого богатства, такого счастья, как умение читать!

– Ничего, я сама тебе прочитаю, – гордо сказала я. – Здесь написано: «Их Императорские Высочества Великие Княжны в Ливадии. Слева направо: Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия Николаевна». Понял?

– И что? – спросил он угрюмо.

– А то, что великая княжна Анастасия Николаевна, то есть царевна, – это я! – выкрикнула я, пораженная его тупостью.

– Чтой-та ты буровишь, – вмешался другой мальчишка, такой же тощий, чумазый, плохо одетый, как первый, правда, бритый наголо. – Княжна-то – она где? На газетке. А ты тута. Какая ж ты она?

– Это же фотография, чудак, – засмеялась я снисходительно и тут же поняла, что это слово ему неизвестно, он вообще не понимает, что это такое, а мою снисходительность он воспринял как издевку.

– Надсмехаешься? – протянул бритоголовый, и его глаза сверкнули ненавистью. – Слышь, Фролка, она над нами надсмехается, энта царевна!

– Царевна, говоришь? – точно так же сверкнул глазами первый мальчишка. – Царева, значит, дочка? Да за вас, за царей, мои батька с маткой на поселение пошли, не в Москве, как раньше, а тута живем, на Пустовой.

Он махнул в сторону жалких домишек, нелепо скособочившихся вдоль улицы, и я, наконец, сообразила, куда попала.

Это была улица, где жили ссыльные поселенцы.

…В самом центре Угрюмска, через два квартала от полицейского управления, находился длинный белый дом с решетчатыми окнами – острог. Туда частенько пригоняли партии арестантов: оборванных, растрепанных, с затравленными,

злобными лицами – уголовников, разбойников. Однако среди них иногда можно было увидеть людей в студенческих тужурках, в пиджаках, в черных косоворотках. Это были не уголовники, а те, кого называли «политиками».

Частенько по улицам разносился возбужденный крик:

– Острожников ведут! Острожных!

Партия арестантов тащилась по середине улицы, а обочь ехали верхом, с шашками наголо конвоиры. Мальчишки со всего города мчались глядеть на новых обитателей острога. Девчонки тоже туда бегали. И я как-то раз там оказалась. Но подошла слишком близко к острожникам, и конвоир, привстав на стременах, закричал на меня сердито:

– Осади назад!

Лошадь его, кося лиловым огромным злым глазом, похрапывая и бренча удилами, пошла на меня боком. Я перепугалась, убежала и больше смотреть на арестантов не ходила. Мне было и жалко их, и противно, потому что они бунтовали против царя, а в нашей семье к верховной государственной власти относились с глубоким почтением.

Острог в Угрюмске был пересыльной тюрьмой. Отсюда арестанты шли по этапу дальше. Однако некоторые оставались в нашем городке. Они назывались ссыльными поселенцами. На поселение определялись не уголовные, а только «политики». Они проводили в Угрюмске по три-пять лет, живя будто на воле, а на самом деле – под постоянным надзором полиции. Некоторые находили работу, но большинство жили на скудные «кормовые» деньги, вели немудрящее хозяйство: огородничали, покупали в складчину скотину… Такая общая жизнь называлась коммуной. Кое к кому приезжали жены и дети; семейные от коммуны отделялись и селились в плохоньких домишках, стоявших бесхозными на окраине. Впрочем, вид этих домишек, даже ставших обитаемыми, менялся мало: денег на обустройство у «политиков» не было.

Да, улица Пустовая была, конечно, последним местом, где бы мне хотелось оказаться! Ведь всех этих политических арестовали и сослали за то, что они хотели убить царя! А значит, и его семью. А я ляпнула им, кто я такая, назвалась Анастасией…

Но я поздно хватилась осторожничать!

– Ну, щас ты узнаешь, краля, щас узнаешь… – твердил бритоголовый, наступая на меня. Глаза его выкатились, стали безумными.

Мне стало холодно. В книжках я встречала выражение: «Кровь отхлынула от лица». Сейчас кровь отхлынула не только от моего лица, она как будто вся из тела вытекла! Газета выскользнула из моих задрожавших пальцев и зашелестела в пыли.

– Да ладно, Кирюха, – примирительно сказал Фролка. – Она наврала. Не видишь, что ли, как перепугалась? Наврала ты, да? Ну? Чего молчишь, говори!

Да ему жалко меня стало, вдруг поняла я.

Жалко? Меня? Царевну Анастасию?!

И страх исчез, наоборот – такая злость, такая злобная гордость меня обуяли, что, казалось, режь начетверо, но я все равно не признаюсь, что наврала!

– Нет, – выпалила я. – Нет! Это правда. Я царевна! Меня украли у настоящих родителей и отдали Ивановым. Меня подменили! Но я – настоящая царевна!

– Дура, чего несешь! – перепугался Фролка, а Кирюха, не отрывая от меня взгляда своих рыжих глаз, наклонился и подобрал с земли здоровенный дрын. Выкрикнул, брызжа слюной:

– Капец тебе, царевна!

– Не надо, Кирюха, – попытался остановить его Фролка, но тот словно не слышал. Взмахнул дрыном, бросился ко мне – и вдруг до меня долетел властный крик:

– Отойдите от нее! Прекратите немедленно!

Кирюха словно не слышал – так и пер на меня! От первого замаха я успела увернуться, но ослабевшие ноги не держали, я упала. Попыталась вскочить, но Кирюха навис надо мной, замахнулся снова – и вдруг дрын вырвался из его рук и улетел куда-то в сторону. Мгновение Кирюха стоял с обалделым видом, а потом тоже отлетел в сторону. И только теперь я поняла, что это не само собой произошло: моего врага отшвырнул какой-то мужчина в черной тужурке.

Он протянул мне одну руку, помогая подняться, а вторую сжал в кулак и погрозил валяющемуся на земле Кирюхе, даже не поворачиваясь к нему.

Тот дернулся было подняться, но при виде этого кулака стиснулся в комок и сидел тихо, как нашкодивший котенок при виде рассерженного хозяина.

– Дядя Сережа, – раздался тихий, перепуганный голос Фролки. – Да мы чего? Мы ничего!

– Она сказала, что она царевна, – прошептал, чуть ли не всхлипывая, Кирюха. – А царей надо убивать!

– Что за ерунда, какая царевна? – бросил мой спаситель. У него был чуть хрипловатый голос.

– Да царевна эта… Настасья, – проблеял Кирюха. – И газетку с патретом показывала!

Я взглянула внимательней на своего спасителя, да так и ахнула. Это был Инсаров! Совершенно такой, каким я его представляла, когда читала «Накануне»! Бледный, горбоносый, с черными глазами и волосами… наверное, так выглядел Инсаров, когда бросил в воду хама-немца, а потом «проговорил он с презрительной и безжалостной небрежностью: „Выплывет!“». Но там, в книжке, он казался своим противникам «очень грозным, и недаром: что-то недоброе, что-то опасное выступило у него на лице». Да, лицо этого человека было недобрым, даже опасным, но до чего же он был красив, до чего загадочен! Неизвестно, была ли у Инсарова ямочка на подбородке, а у этого человека была.

Я не могла оторвать от него глаз! И он взглянул на меня своими чернющими глазищами… а потом вся злость, вся ярость, все недоброе и опасное с его лица вмиг исчезло, он улыбнулся и стал еще красивее, потому что глаза его от этой

улыбки засияли, словно светлым пламенем налились.

– Испугалась? – спросил ласково. – Не бойся, они тебя больше не тронут. Что это за история с царевной?

– Вот, – раздался тихий, робкий голосишко Фролки. – Вот газетка, видишь, дядь Сереж?

Инсаров взял газету, посмотрел на фотографию великих княжон, потом на меня.

Улыбнулся:

– И правда похожа… Не так чтобы очень, но какое-то сходство есть. А как тебя зовут?

– Надя Иванова, – ляпнула я.

– А я думал, Настя Романова, – засмеялся Инсаров, и я поняла, что очень глупо себя выдала.

Одно из двух: или я царевна Анастасия, или Надя Иванова!

– Вот! – завопил Фролка. – Я же так и знал, что ты врешь! Говорил же тебе – сознавайся! А ты нос задирала! Если б не дядя Сережа, Кирюха бы тебя убил! Он же бешеный! Совсем бешеный!

– Тихо, не пугай девочку, – сказал Инсаров. – Надя Иванова… Ты дочка путейского инженера Иванова? Владимира Петровича?

Я кивнула.

– Ну и с чего тебе захотелось быть царевной? – удивленно посмотрел на меня Инсаров. – Чего тут желать, чем хвастаться? Разве можно гордиться тем, что ты бездельница, живущая за счет угнетенного народа? Разве можно этой Анастасии завидовать? Наоборот, это она тебе должна завидовать! У тебя отец – трудовой инженер-путеец! Знаешь, как рабочие-железнодорожники его уважают? А у твоей царевны отец – царь! Николай Кровавый. Эксплуататор и кровопийца. Рано

или поздно его настигнет месть возмущенного народа. И он получит пулю в лоб!

– А меня… – начала было я, но быстренько оговорилась: – А Настю… Анастасию… а царевну тоже настигнет это… ну, месть возмущенного народа? И она тоже получит пулю в лоб?

Инсаров поглядел на меня со странным любопытством, потом улыбнулся:

– Тебе ее жалко?

Я опустила глаза. Он не понимает… ее жалко? Да ведь это все равно что себя жалко! Я по-прежнему ощущала какую-то странную, почти неодолимую раздвоенность. Я была и собой – и этой девочкой на снимке.

Инсаров по-прежнему ждал ответа, ласково глядя на меня своими удивительными глазами. Я почувствовала, что доверяю ему необыкновенно! Казалось, что могу сказать все на свете этому человеку, которого вижу впервые в жизни. Хотя почему – впервые? Он жил в моем воображении, в моем сердце так долго, ведь он – Инсаров!

И я решилась признаться:

– Да, мне ее жалко. Вы ее убьете?

Он помолчал, потом сказал:

– Нет, никогда. Мы не воюем с царевнами. Революционеры не убивают беззащитных девушек. Мы надеемся, что Анастасия поймет, что ей будет по пути с новой Россией, с новой жизнью, которую мы когда-нибудь наладим!

Он был так красив, когда произносил эти слова, когда смотрел на меня, когда улыбался мне…

Я поверила ему. Сердце мое сжалось от восторга, никогда раньше не испытанного!

– Ну, иди, – вдруг сказал Инсаров. – Твоя мать, наверное, тебя ищет. Да и мне пора. Фролка, проводи Надю домой.

Кирюха что-то возмущенно буркнул, дернулся было, чтобы подняться, но Инсаров только бровью повел – и он остался сидеть в пыли.

Мы пошли. Фролка держался чуть поодаль, словно конвоир или, может, почетный караул.

Так мы дошли до улицы Судейской, где стоял наш дом, и я издалека увидела маму, которая бестолково металась перед воротами, напряженно озираясь по сторонам. Увидев меня, она прижала руки к груди, как будто боялась, что сердце от волнения выскочит.

– Ладно, – сказала я Фролке, – ты иди, я сама дальше.

– Ага, – кивнул он и, покорно повернувшись, пошел было прочь, но я схватила его за рукав грязной рубахи:

– Погоди, Фролка! Как его фамилия?

– Чья? – удивился он.

«Инсарова», – чуть не брякнула я, но вовремя спохватилась:

– Ну этого, вашего… дяди Сережи.

– Васильев, – сказал Фролка. – Он эсер.

Понятное дело, тогда я не знала, что такое эсер, но это было неважно. Эти два слова звучали переборами гитарных струн: эсер Инсаров! Фамилия же Васильев мне не понравилась, показалась слишком мягкой. И про себя, втайне, я еще долго называла моего спасителя Инсаровым.

Только дома я спохватилась, что газета осталась у него. Ну и ладно. Мама на месте умерла бы, увидев ее у меня. К тому же мне было приятно, что теперь у Инсарова есть моя фотография. То есть не совсем моя, но очень похожая!

Посмотрит на эту Анастасию – и, может быть, вспомнит меня.

Хорошо бы и мне, наконец, вспомнить, хорошо бы и мне, наконец, понять, кто же я такая: Надя или Настя, Ната?! Но не было никого, кто мог бы это объяснить.

Надо ли говорить, что на другой же день я, вырвавшись из-под присмотра матери, побежала на Пустовую, надеясь встретить Инсарова? Так хотелось снова увидеть ласковое сияние его глаз и его улыбку, снова услышать его чуть хрипловатый голос, который меня так волновал!

Однако сколько я ни болталась на Пустовой, мне не удалось повидать не только Инсарова, но и других моих вчерашних знакомцев. Я ничуть не боялась встречи с ними: Фролка уже казался мне неплохим мальчишкой, я могла бы с ним подружиться, а Кирюху Инсаров так напугал, что он меня больше не посмеет тронуть. Разумеется, я искала их не для того, чтобы затеять игру в горелки или в чижа: хотела хоть что-нибудь узнать про Инсарова. Например, они могли бы показать мне его дом, и я бы постояла где-нибудь неподалеку, затаившись, поджидая, когда он выйдет… выйдет и посмотрит на меня так, что мне почудится, будто меня согревает светлое пламя.

Кто знает, может быть, я когда-нибудь все-таки увидела бы Инсарова, однако отец пришел к обеду очень озабоченный и сообщил, что по делам службы должен немедленно уехать в Нижний Новгород. Немедленно! Вечерним поездом в Вятку, оттуда в Нижний.

– А когда ты вернешься? – спросила я.

Отец быстро глянул на меня, но тотчас отвел глаза и буркнул:

– Я не вернусь. Мы уезжаем все вместе.

Мама испуганно ойкнула, сжала руки, но ничего не сказала. Она повиновалась отцу беспрекословно.

– Что за ерунда? – воскликнула я дрожащим голосом: ведь если мы уедем, я больше не увижу Инсарова. – Я не хочу никуда уезжать!

– Не говори с отцом так грубо! – жалобно сказала мама.

– Это необходимо, Надюша, – строго произнес отец. – И причина нашего отъезда – ты.

Я только и могла, что с растерянным выражением хлопать глазами, совершенно ничего не понимая.

– Но при чем здесь Надя? – спросила мать, открывая кладовку и доставая оттуда наши потертые, много повидавшие кофры и корзины, чтобы начать собирать вещи.

– А при том, что меня сегодня утром остановил по пути на службу один человек и сообщил, что моя дочь бегает по улицам с какой-то газетой и распространяет очень опасные слухи. Якобы она – великая княжна Анастасия Николаевна, украденная у настоящих родителей и отданная нам на воспитание. И посоветовал ее остановить.

Мама так и села, едва не угодив мимо табурета!

– Господи, – простонала она, – но кто тебе это сказал? Это порядочный человек? Ему можно верить?

– Это ссыльный Сергей Васильев, – ответил отец. – Хоть он и эсер, хоть и ссыльный, но человек, безусловно, порядочный. Просто так врать бы он не стал. На случай, если бы я не поверил, он готов был привести каких-то мальчишек, которым Надя вчера морочила головы. Это тоже дети ссыльных, и нам очень повезет, если вся эта история не пойдет дальше Васильева. Он мне, впрочем, в этом поклялся.

Сергей Васильев?! Но ведь это Инсаров! Инсаров выдал меня отцу?! Зачем? Почему?!

Я ничего не понимала, я была просто убита этим известием, голоса родителей доносились сквозь гул в ушах, я едва смогла обратить внимание, какой бледной – нет, даже не бледной, а почти зеленой от ужаса сделалась вдруг мама.

– Полиция… а если в полицию?… – простонала она.

– Я же тебе говорю: Васильев поклялся, что будет молчать, – раздраженно повторил отец. – Если бы на его месте оказался кто-то из моих сослуживцев или, ну, не знаю, один из здешних обывателей, они, конечно, уже донесли бы на нас в полицию, ибо такие разговоры считаются крамольными и опасными. Мне известно, что есть особое указание из Петербурга доносить обо всех подобных случаях в Особый корпус жандармов.

Мама схватилась за горло, глаза ее были полны такого ужаса, что я, наконец, начала приходить в себя и понимать: случилось нечто более страшное, чем предательство Инсарова и невозможность снова его увидеть.

– Если бы эти разговоры вела любая другая девочка в любой другой семье, они могли бы быть сочтены за глупость, за шалость, – продолжал отец. – К ним отнеслись бы, возможно, снисходительно. Но ты же сама понимаешь, Серафима, мы – не какая-то другая семья!

Мама кивнула, прижав ладонь к дрожащим губам. Она смотрела на меня, пыталась что-то сказать, но не могла.

Отец повернулся ко мне, всмотрелся в мое лицо, на котором, видимо, смешались страх, возмущение, обида…

– Ты еще слишком мала, чтобы понять, – проговорил он с трудом. – Возможно, и никогда не поймешь. Но сейчас прошу поверить мне, просто поверить. Мы в огромной опасности, особенно ты. Помнишь городового, который пугал тебя ямой, куда тебе будут бросать еду через решетку? Сейчас мы все рядом с такой ямой. И ты, и мама, и я. И неважно, что она будет иметь вид камеры с решетками на окнах – для нас с мамой в тюрьме, а для тебя в сумасшедшем доме… Если бы не предупреждение Васильева, дай Бог ему здоровья, по городу пошли бы слухи, и тогда нас ничто бы не спасло. Поэтому умоляю тебя немедленно начать собирать вещи. Вечером мы должны уехать.

Его взгляд, выражение его лица, звук голоса, ужас, охвативший мать, – все это произвело на меня такое впечатление, что я не могла даже слова сказать, чтобы возражать, отказываться повиноваться…

«Инсаров меня предал! Инсаров хотел от меня избавиться! Он не хочет больше меня видеть!» – вот и все мысли, которые толклись в моей бедной неразумной голове.

– Иди собирайся, Надя, – повторил отец, и я покорно пошла в спальню: укладывать вещи, увязывать книги.

Взяла Толстого, Джека Лондона, а «Накануне» швырнула под кровать. Впрочем, я прекрасно понимала, что так легко вышвырнуть из своей головы этого человека я не смогу. Думаю, горе, которое я тогда ощущала, помогло мне оставаться покорной, помогло подчиняться отцу и матери. Это было горе первой отвергнутой любви, которое подавило меня.

Ну да, я была влюблена в него, влюблена по уши. Первая любовь настигла меня в 12 лет… даже раньше, чем Джульетту!

Мысль о том, что Инсаров меня не только предал, но и спас, просто не способна была до меня дойти. Беспредельно несчастная, отправилась я с родителями на вокзал, села в поезд, кое-как перемучилась ночь в служебном купе – очень, кстати сказать, уютном! – и на другое утро мы вышли из вагона на чистеньком перроне около красивого Царского павильона на вокзале Нижнего Новгорода.

Город делился на две части – Верхнюю и Нижнюю. Их разделяла Ока, которая на стрелке сливалась с Волгой. Московский вокзал находился в Нижней части города, Ромодановский – в Верхней, хотя и внизу, у самой Оки, на Казанской площади. Квартира для нас была выделена в Верхней части. Туда вели трамвайные пути через мост над рекой. Но мы взяли, конечно, извозчика.

Я мало что помню от первого впечатления о городе, настолько была погружена в свое горе. Служебная квартира размещалась на улице Провиантской, название которой на миг вызвало у меня улыбку, но тут же я снова углубилась в свои печальные мысли.

Мы миновали роскошные здания Нижегородской ярмарки, окруженные удивительными прудами, поднялись в гору мимо впечатляющих своей внушительностью кремлевских стен, потом объехали красивую площадь с фонтаном посередине – она называлась Благовещенской, как сообщил словоохотливый извозчик, – и свернули на Тихоновскую. Изобилие садов,

сверкающих чистой, свежей зеленью, меня поразило. Это так отличалось от Угрюмска, что на сердце у меня стало чуть легче.

Извозчик вдруг ткнул кнутовищем в сторону причудливого двухэтажного здания, похожего на теремок, выкрашенный в голубой цвет, с белыми наличниками. Здание было окружено довольно высоким резным забором.

– А вот тут наши бедняги божевильные заточены, – сообщил извозчик. – Беда много в Нижнем сумасшедших! Отчего так – не ведаю. Сейчас для них в Ляхове новую больничку выстроили, попросторней им стало, а то теснились тут на головах друг у друга.

Я всмотрелась… на всех окнах теремка виднелись тяжелые решетки, а ограда была усыпана битым стеклом.

Яма! Яма, в которую бросают кусочки тем, кто сидит на дне!

– Поехали, поехали! – закричала я, утыкаясь в материнские колени.

Уж не знаю, сам ли, по своей ли воле обратил мое внимание извозчик на этот дом скорби, отец ли украдкой велел ему сделать это, но зрелище веселенького теремка с решетками на окнах меня надолго образумило и отбило охоту обращаться мыслями к великой княжне Анастасии.

Но долго еще мучило меня недоумение: почему за такую, казалось бы, невинную шалость, как попытка притвориться царевной, полагалось такое суровое наказание?! И почему отец сказал, что это наказание будет суровым именно по отношению к нашей семье?

Спрашивать я не решалась. Понимала, что никто ничего мне не станет объяснять.

Однако мои родители могли бы объяснить мне все, если бы не дали подписку о неразглашении государственной тайны. Взял с них эту подписку человек по имени Петр Константинович Бойцов, и нарушить ее они ни за что не могли, иначе стали бы преступниками и были бы наказаны по всей строгости закона.

Но узнала я об этом позже, много позже… при обстоятельствах, которые стали для всех нас трагическими.

* * *

Я всегда с удовольствием вспоминала нашу жизнь в Нижнем Новгороде. Прекрасный город, такой тихий, зеленый, на месте слияния двух великолепных рек… И в моих настроениях царила тишина. Я постаралась выкинуть из головы все воспоминания о Филатовых, все свои фантазии по поводу Анастасии. Может быть, этому способствовало то, что меня приняли в гимназию, которая находилась на главной площади, Благовещенской, и, чтобы попасть туда, мне нужно было дважды в день проходить по Тихоновской мимо того пугающего теремка с решетками на окнах. Я старалась как можно скорей пробежать мимо его забора. Постепенно немного привыкла – сердце уже не замирало от ужаса, картины моего собственного заточения в этом страшном месте меня больше не преследовали, – однако это постоянное ощущение страха помогло мне не болтать лишнего и вообще держать себя в руках.

В гимназии тоже никто не обращал внимания на мое сходство с Анастасией. Очень может быть, длинная коса и гладко зачесанные со лба волосы сильно изменили меня. Честно говоря, я почти забыла о своих странных снах, о своих тревожных воспоминаниях, и черт меня больше за язык не дергал. Зимние каникулы мы проводили очень весело: устраивались елки в мужских гимназиях, куда приглашались гимназистки старших классов, женские гимназии в свою очередь также устраивали вечера и приглашали гимназистов. Все девушки были в форме, белых фартучках и пелеринках.

Однако началась война с немцами, и даже у нас в гимназии поднялись фрондерские настроения, а уж отец, который постоянно общался с рабочими, вообще был очень встревожен. Он по долгу службы часто бывал в Сормове, а это еще с 1905 года был самый опасный, самый ненадежный рабочий поселок в Нижегородской губернии[2 - Сормово вошло в состав Нижнего Новгорода только в 1928 году; в описываемое же время принадлежало Балахнинскому уезду.]. И вот до нас дошло известие о том, что государь отрекся от престола! Семья императора арестована и заключена в Александровском дворце Царского Села!

Мне приснилась Анастасия, она умоляла защитить ее, шептала: «Помоги, ведь ты – это я!» Я никому не рассказывала об этих снах, но, похоже, родители

почувствовали, что со мной что-то неладно. Да еще деповские постоянно бастовали, агитаторы большевиков мутили воду, в завтрашний день нельзя было смотреть без страха.

На Острожной площади толпа выпущенных на свободу узников убила начальника следственного отдела нижегородской полиции. Соседская кухарка однажды прибежала с базара с пустой корзинкой, захлебываясь от слез и едва в силах выговорить:

– На углу костер… городового растерзали, вот и жгли его!

Теперь каждый раз, когда отец уезжал в депо, мама себе места не находила от страха. Рабочие рвались к самоуправлению и порою творили самосуд над своим начальством. Правда, до убийства инженеров дело еще не доходило, но ведь кто знает, чего можно ждать дальше?!

Отец то и дело хватался за сердце, жаловался на головную боль. Мама опасалась, что он донервничается до удара.

Этот чудный город нас теперь не радовал, а пугал – уж очень он стал революционным!

– «?a va mal, on chante la Marseillaise!»[3 - «Дела плохи, уже запели Марсельезу!» (франц.). Клод Жозеф Руже де Лиль, автор «Марсельезы», которая стала с 1793 г. гимном Франции, произнес эти слова, когда в стране началась Июльская революция 1848 г.] – как-то сказал отец, а потом продолжил, переживая очередной приступ болезни и тоски: – И здесь будет еще хуже, помяните мое слово! А не перебраться ли нам в Одессу? И климат куда лучше, и народ веселый – вряд ли дойдет до такого сумасшествия, чтобы городовых жечь!

Отец бывал в Одессе еще в молодости, в 80-е годы прошлого века, и остался навсегда очарованным ею. У него там осталась сестра-вдова, с которой, впрочем, он был не в ладах и даже почти не переписывался, отделываясь только открытками – поздравлениями с праздниками. Понятно было, что если ехать в Одессу, то или жить у тетушки Валентины Петровны, у которой имелась собственная квартира на Пушкинской, выкупленная у владельца доходного дома, или поселиться отдельно, однако все же с ней встречаться и родниться, чего никому не хотелось. Поэтому мы с мамой пропускали намеки на Одессу

мимо ушей, да и сам отец вряд ли вел эти разговоры всерьез.

Но от судьбы ведь и в самом деле не уйдешь! В марте 1917 года мы получили письмо из Одессы от адвоката по фамилии Вальцман, который вел дела госпожи Фоминой (таковой стала фамилия Валентины Петровны после замужества). Оказывается, госпожа Фомина скончалась от сердечного приступа. Мой отец был ее единственным наследником. Завещания тетушка не оставила – то ли не успела написать, то ли не хотела радовать нелюбимого брата, – однако, кроме отца, наследовать было некому. Таким образом квартира на Пушкинской в Одессе и домишко в Ялте в Крыму теперь стали нашими.

– Едем немедленно! – изрек отец. – Уйду со службы, в Одессе новую работу отыщу.

– Может быть, лучше в Ялту? – заикнулась мама, но отец воспротивился:

– Там нет железной дороги. Что я буду делать? Нет, только в Одессу. Бог даст, пересидим в городе Ланжерона и Дерибаса[4 - Граф Александр Федорович Ланжерон (1763–1831) – французский эмигрант, русский военачальник эпохи Наполеоновских войн, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии с 1815 по 1822 год. Его именем названа та часть Одессы, где некогда находилась его дача.Иосиф (Осип) Михайлович Дерибас (исп. Хосе де Рибас, 1751–1800) – испанский дворянин по происхождению, русский военный и государственный деятель, основатель Одесского порта и города Одессы. В его честь названа центральная улица города.] революцию, глядишь, все повернется по-старому. Там всегда была тихая курортная сытая жизнь.

Мы быстро собрались и отправились в Одессу.

* * *

Прибыли мы туда в апреле – и обнаружили, что отец оказался почти прав.

В отличие от многих других российских городов в Одессе февральский переворот прошел относительно спокойно. Горожанам просто сообщили о свершившемся. Ни уличных боев и перестрелок, ни массовых арестов, ни убийств полицейских и городовых. Большинство из них отправили на фронт –

«искупать вину перед народом», жандармское управление расформировали, а охранять порядок в городе стали отряды народной милиции, состоящие по большей части из студентов. Начальником милиции стал… профессор университета Завьялов.

Памятник Екатерине Великой на площади ее же имени стоял завешенный полотном, чтобы не раздражать революционеров, которых в Одессе называли «ливрацнерами».

Как я сейчас понимаю, стремительно развивающиеся события для беспечных одесситов были нереальными, как если бы они наблюдали их на экране в синематографе. Вообще город был в восторге от свершившейся революции. «Марсельезу» пели на всех углах! Мы приехали как раз в тот день, когда состоялась пятидесятитысячная демонстрация – в поддержку завоеваний февраля. Шли рядом кадеты и анархисты, рабочие и генералы, солдаты и судовладельцы. Через несколько дней в Одессу с острова Березань привезли прах лейтенанта Шмидта[5 - Петр Петрович Шмидт (1867–1906) – уроженец Одессы, революционный деятель, один из руководителей Севастопольского восстания 1905 г. После подавления восстания расстрелян на острове Березань по приговору военно-полевого суда вместе с тремя матросами, своими ближайшими сподвижниками.], о котором мы, между прочим, услышали впервые, а здесь это имя было у всех на слуху. По Шмидту совершили панихиду в Кафедральном соборе. В почетном карауле стоял, между прочим, и адмирал Колчак. Даже Керенский приехал ради перепогребения мятежного лейтенанта и сопровождал гроб в Севастополь, где церемония и состоялась.

А во власти в Одессе царила полная неразбериха. Мирно уживались большевики, меньшевики, эсеры… Совет рабочих депутатов, Совет матросских и офицерских депутатов, Солдатский совет, Совет трудовой интеллигенции, Крестьянский совет, Совет профсоюзов, Совет фабрично-заводских комитетов… Был даже «Союз моряков», «Союз портных „Игла“», «Союз пекарей» и «Союз безработных»!

В Воронцовском дворце непрерывно шли заседания то одного, то другого «органа власти». Чтобы хотя бы немного привести их всех к общему знаменателю, создали Румчерод – Исполком съезда советов румынского фронта, черноморского флота, одесского округа. Тем не менее на власть претендовали Центральная рада, все Советы, Временное правительство и невесть кто еще.

Впрочем, нам поначалу было не до политики: оказалось, что квартира госпожи Фоминой, которую унаследовал отец, занята жильцами, которые сняли жилье еще при жизни тетушки Валентины Петровны и нипочем не пожелали освобождать раньше, чем закончится срок найма. На наше счастье, он должен был закончиться через неделю. Адвокат Вальцман, сконфуженный тем, что не предусмотрел такого осложнения, предложил нам поселиться у его знакомых: здесь же, на Пушкинской, совсем рядом. Фамилия этих людей была Хаймович. Они сняли себе слишком большую квартиру и часть ее сдавали. Сейчас как раз у них были две свободные комнаты, которые мы могли снять на эту неделю.

– Правда, извините, они евреи, – зачем-то предупредил адвокат, хотя это и так было понятно по фамилии хозяев. – Но это, я вам скажу, почти интеллигентные люди, с гоев[6 - Гои – не евреи.] дорого ни разу не возьмут, разводить вас не будут.

У нас в Нижнем Новгороде было несколько знакомых евреев среди сослуживцев отца, с ними со всеми мы поддерживали добрые отношения. Так что предупреждение нас не напугало.

– Мне все равно, пусть даже готтентоты, – сообщил отец великодушно. – А почему у них к гоям такое снисхождение?

– Они придерживаются такого убеждения: если еврей обобрал или обманул еврея – это его личный грех, а обманув гоя, он бросает тень на весь народ, – пояснил адвокат и проводил нас, несколько подавленных таким благородством, на Пушкинскую – в дом, где Хаймовичи готовы были сдать нам жилье.

Правда, он оказался не «совсем рядом» – улица Пушкинская была длинной. Дом, где размещалась квартира моей покойной тетки, находился почти в начале, совсем близко к Ланжероновской, а квартира Хаймовичей – в другом конце, и можно было наблюдать, как, по мере приближения к вокзалу, Привозу и Куликову полю, Пушкинская постепенно теряла нарядный и внушительный вид одной из центральных улиц. Правда, платаны, поразившие меня своей необычайной красотой, и отличная брусчатка оставались прежними.

Сам Хаймович был мужским портным: с утра и дотемна сидел в небольшой мастерской, где с помощью двух подмастерьев «строил» пальто и костюмы. Казалось бы, семья портного должна быть обшита как следует, но, видимо, с

женской одеждой у господина Хаймовича не ладилось, потому что и Вирка, и ее мать одевались во что придется, чуть ли не в обноски. А впрочем, очень может быть, что Вирке было просто-напросто наплевать на одежду, а мадам Хаймович была так занята по хозяйству, что ей было вовсе не до нарядов. Хаймовичи в самом деле оказались довольно приятными людьми, но цену назвали не столь благородную, как можно было ожидать после слов адвоката. Однако родители спорить не стали: мадам Хаймович пообещала готовить нам еду, а мы уже успели узнать, что одесские цены по сравнению с нижегородскими оказались феерическими. На Привоз, о котором нам с мамой отец все уши прожужжал, нечего было и соваться большинству внезапно обедневших одесситов, а те, которые все же захаживали, причитали:

– С ума сдвинуться мозгами! Просто нечего в кошелку положить! Что они там себе думают, те торговки? О, это еще те торговки, вот шо я вам скажу!

Нечем было даже мало-мальски, как здесь говорили, расстегнуться, то есть заплатить и за хлеб, и за рибу, иначе говоря, рыбу: хватало только на рачки – креветки. Впрочем, когда разошлась весна, а потом наступило лето, стало полегче: какой смысл заламывать несусветные цены, если в жару «риба» тухнет на глазах, а «разный овощ и фрукта» гниет?

Словом, родители спорить с Хаймовичами не стали. У нас деньги были… я никогда не задумывалась, откуда они брались, но они были всегда: и в хорошие времена, и в дурные. Наверное, мы могли бы позволить себе жить более широко, если бы мои родители не держались всегда в тени, словно стыдились чего-то. А они не стыдились, они просто боялись за меня!

Итак, мы прожили у Хаймовичей три дня, поглощая гифилте фиш, вкуснейший яблочный кугель, хацилим из баклажанов, которые в Одессе называют «синенькими», и прочие еврейские блюда. Правда, почти беспрерывная и громогласная болтовня мадам Хаймович и чад керосинок «Герц», на которых она готовила, утомили нас так, что потом, съехав на свою квартиру, мы старались по возможности избегать встреч с этой семьей, и, пожалуй, вообще забыли бы об этом знакомстве, если бы не дочь наших квартирных хозяев Вирка – Вирка Хаймович, которую я проклинаю всю мою жизнь.

Но тогда, давно, мы ненадолго подружились.

На самом деле ее звали Вирсавией. Это очень красивое библейское имя было безжалостно перековеркано ее домашними. Вирка, впрочем, свое имя ненавидела и потом, позже, когда мы вступали в молодежный союз и стали выбирать себе псевдонимы, она назвалась Верой.

Вирка была старше меня лет на семь-восемь: высокая, худая, с великолепными черными волосами (говорила, что они раньше были жидкими и убогими, а после того, как переболела скарлатиной и ее остригли наголо, выросли роскошные кудри) и прекрасными черными глазами, которые напомнили мне глаза Инсарова и вызвали приступ полузабытой тоски по нему. В гимназию Вирка давно уже не ходила – уже выросла; я тоже не ходила, но по другой причине. Мы с родителями решили, что в этом смысла нет: учебный год кончался, лучше записаться в гимназию уже в сентябре. Например, в частную платную гимназию Пашковской, которая находилась на углу Херсонской улицы и Торговой. Ее очень хвалили. Конечно, мне придется остаться в выпускном классе на второй год, но родители считали, что мне обязательно нужно получить свидетельство о среднем образовании. А Вирка просто не хотела больше учиться. «Довольно, научилась!» – презрительно говорила она. Раньше ее семья жила в Бершади, где Вирка посещала училище вместе с русскими, но потом ее выгнали. Любимой темой ее разговоров была мировая несправедливость по отношению к евреям. В начале войны, в 14 году, директор их училища произнес в классе оскорбительную речь, обвиняя евреев в том, что они не хотят воевать. Вирка, которая всегда отличалась и красноречием, и смелостью, произнесла ответную речь. Говорила о черте оседлости, о том, что евреев не принимают в университеты, что еврей не может стать офицером, каким бы храбрым он ни был. «Так для чего еврею стремиться на фронт? Для чего проливать свою кровь?» – патетически вопрошала она. Когда Вирка умолкла, директор сказал, задыхаясь от злобы: «Была бы ты постарше, угодила бы в Сибирь. Забирай свои книжки и марш из школы».

Вирка рассказывала, что ее родители огорчились, ведь дочке оставалось учиться только год, – а она только обрадовалась: появилось больше времени книжки читать. В то время, по ее словам, она читала почти беспрерывно: даже когда у Хаймовичей родился младший ребенок, Вирка качала его колыбель ногой и читала, читала… Между прочим, именно поэтому ее речь то пестрела одесскими своеобразными словечками, то была совершенно правильной, грамотной.

Оказывается, Вирка тоже любила Джека Лондона: «Чтобы быть такой же сильной и смелой, как его герои, я стала заниматься гимнастикой по системе

Мюллера и особенно старательно чистить зубы!» – и еще Конан-Дойля: «Прочитав шестнадцать томов Конан Дойля, я сказала маме, что это самый замечательный писатель после Тургенева!»

– Тебе нравится Тургенев? – обрадовалась я. – Мне тоже! Особенно «Накануне». В Инсарова я вообще влюблена была…

И прикусила язык. Еще минута – и я бы выложила историю своей любви! Может быть, в этом не было ничего странного, какой девчонке не хочется поговорить о человеке, в которого она влюблена, но я не сомневалась, что Вирке такие глупости были чужды: это же надо, речь произнести перед директором училища в защиту евреев, а я тут с какой-то детской любовью.

– В Инсарова? – насторожилась Вирка. – В какого?

– Ну который в книжке, в Дмитрия Инсарова, – пояснила я.

– А, понятно, а то я подумала – в нашего, у нас есть один Инсаров, – хохотнула с издевкой Вирка, и я поняла, что точно была бы поднята ею на смех, пустись откровенничать о том, другом, «моем» Инсарове, а потому поспешила перевести разговор:

– Я даже в Болгарию одно время собиралась ехать, чтобы помогать угнетенным.

– Угнетенных у нас и своих хватает, – уже серьезно произнесла Вирка, и я вспомнила разговор с отцом, который сказал тогда почти то же самое. – Хошь помогать?

– Кому? – не поняла я.

– Да угнетенным же ж, кому больше! Не в Болгарии, а туточки.

– А как?

– Да много чего можно сделать! Думаешь, тем, что было в феврале, все ограничится? Я тебя умоляю! Настоящая революция еще впереди! Мировая революция! Та, которая даст власть рабочим и крестьянам! И шоб подлинное

равноправие! Никаких тебе господ, никаких слуг, никаких русских, никаких евреев! Никакой черты оседлости! С притеснением будет покончено!

Я, конечно, не слишком сильна была в политических делах, а честно сказать, имела о них очень примитивное представление, однако, на мой взгляд, уж в Одессе-то вообще не было никакого притеснения евреев: существовала школа с преподаванием на иврите, печатались книги на иврите (я видела такие книги у Вирки), выходили еврейские газеты и журналы на русском языке и идише. Здесь действовали еврейское спортивное общество «Маккаби» и музыкальное общество «Ха-Замир», в киностудии «Мизрах» снимались фильмы на еврейские темы, там играли актеры Еврейского театра… Да и частное киноателье «Мирограф», которое существовало с 1907 года, принадлежало еврею – Мирону Осиповичу Гроссману![7 - На базе этого киноателье в свое время создавалась кинофабрика, а затем и знаменитая Одесская киностудия.] Даже сам «одесский язык» – необыкновенный, сочный, забавный, не похожий ни на один язык в мире! – чуть ли не наполовину состоял из еврейских словечек.

Но я не стала спорить с Виркой – не решилась. Ее глаза горели, волосы растрепались, движения ее были такими же резкими и порывистыми, как ее слова. Она была красива, как… как фурия, как валькирия! Как эриния!

Почему-то мне в голову пришли именно такие зловещие мифологические персонажи.

– А когда… когда настанет эта мировая революция? – пролепетала я.

– Как толечко ее время придет, так она и настанет, – уверенно сообщила Вирка. – Чем скорей, тем лучше! Если сидеть и ждать, как тот рак-отшельник в своей скорлупе, то она, может быть, никогда и не придет. И одними разговорами ее не вызовешь, чай, она не девка! Дела делать надо! И мы своими делами можем ее ускорить! Нам нужна активная молодежь. Ты, Надя, тоже должна ходить на наши собрания, шоб приобщаться к революционной деятельности.

Мне немедленно захотелось стать вышеупомянутым раком-отшельником, залезть в свою скорлупу и сидеть там, никоим образом не приобщаясь к революционной деятельности. Глядишь, и задержится мировая революция, а может, и в самом деле вообще не придет, свернет куда-нибудь в сторону. Разумеется, я промолчала, устыдившись своей трусости. Конечно, Вирка мне

очень нравилась: таких интересных подруг у меня еще не было, да у меня вообще не было подруг раньше – так, «коллежанки», как у нас назывались гимназические приятельницы, с которыми мы болтали о всякой ерунде. А с Виркой шел разговор о судьбах мира, можно сказать.

Интересный разговор, только очень страшный!

– Ну таки шо? – вызывающе проговорила Вирка. – Будешь помогать чи вже сдрейфила?

– Ничего я не сдрейфила, – промямлила я, чувствуя, что краснею. – Только надо у мамы спросить… ну, когда свободна буду. Мы сейчас красить и белить в квартире начали, потому что после постояльцев тети Вали там ужасно грязно. И я маме помогаю. У нее и так по хозяйству хлопот полно.

– Вы шо ж, рабочих не можете нанять? – презрительно воскликнула Вирка. – Вы ж нафарширована голдиками[8 - Золотом (одесск.).], вполглаза видно. Зачем все делать самим, если можно нанять прислугу?

– Как это? – опешила я. – Но ведь ты за равноправие! Чтобы не было ни господ, ни слуг. А сейчас что говоришь?

– Ты дурочка, – уничтожающе бросила Вирка. – Равноправие настанет после мировой революции. Ну, я вижу, шо с тобой разговаривать не об чем. Ты самая обыкновенная уклонистка! Отправляйся в свое мещанское болото и сиди там.

Она так на меня глянула, что мне вспомнился еще один мифологический персонаж: горгона Медуза с этими ее развевающимися змеями вокруг головы. Потому что смотрела на меня Вирка ну вот буквально окаменяющим взглядом!

Стало не по себе, и я поспешила уйти. Торопливо простилась с мадам Хаймович и побрела домой по Пушкинской, покрытой узорными тенями платанов, которые смыкались кронами над мостовой, глазея на великолепные здания, подобных которым я никогда и нигде не видела, только здесь такие есть! Какой прекрасной была Одесса! Какой аромат долетал из всех садов! В жизни не видела более красивого города. Я готова была согласиться с людьми, которые говорили: «Одесса – это Париж, только очень маленький!» Как вспомнишь ужасный Угрюмск… И даже Нижний Новгород уже казался менее

привлекательным. Что с того, что там была Волга! Зато в Одессе было море! И вообще… здесь царила атмосфера какой-то бесшабашной свободы, постоянного праздника, почти хмельного веселья. Ни во что плохое не верилось. Хотелось уйти в Александровский сад, где вовсю цвели акации и все вокруг было усыпано их белыми лепестками, облокотиться на парапет, смотреть на синие волны Черного моря и белые пароходы на рейде, вдыхать соленый волнующий запах, слушать гудки, доносящиеся из порта…

Я как будто все время ждала чего-то, но совсем не этой мировой революции, о которой грезила Вирка.

А она от меня не отстала.

* * *

Не минуло и недели, как Вирка появилась снова – «обратно», как выражались в Одессе. Пришла она к нам во время ужина. Мы как раз обсуждали, переезжать ли на дачу или нет. Мама – после относительно прохладного Нижнего Новгорода – неважно переносила одесскую жару, а ведь впереди было лето, самое пекло! Пришлось даже ремонт закончить кое-как, потому что она сильно страдала от жары. Навели в квартире хоть какую-то чистоту – и ладно. А тут отцу его сослуживец предложил снять на две семьи дом около самого моря – в дачном поселке на 16-й станции трамвая, на Большом Фонтане. На самом деле никакого фонтана там не было, так же как и на Малом и Среднем: все эти «фонтаны» представляли собой ручьи разной величины, сбегавшие к морю, откуда возили в город воду до постройки в Одессе днестровского водопровода.

Фонтана, стало быть, на Фонтане не было, зато был дачный поселок. Конечно, к концу мая все дачи были уже сданы более предприимчивым людям, однако у отцова сослуживца случайно освободились полдома. Мы с мамой могли уехать на все лето, отец приезжал бы по воскресеньям, благо туда ходил трамвай по Французскому бульвару взамен прежней неудобной конки[9 - Железная дорога с конной тягой, проложенная по городским улицам, – предшественница трамвая.].

Отец считал, что этот счастливый случай упустить нельзя. Мама колебалась, поглядывая на меня, но я тоже колебалась: море и в Одессе есть, от Пушкинской до набережной всего ничего, а там, на этом Большом Фонтане, не будет, конечно, ни синематографов, ни концертов под открытым небом в

Александровском саду, ни богатейшей городской библиотеки, где открылись передо мной настоящие сокровища.

Конечно, я готова была поехать ради мамы. Но, честно, мне туда совершенно не хотелось. Может быть, попозже… Но решать надо было немедленно, потому что дача могла не просто уйти – улететь!

Однако когда пришла Вирка, разговор скомкался. Конечно, мама пригласила ее за стол. Вирка лениво ковыряла котлеты, исподтишка поглядывая на меня. Она вообще ела очень мало – даже роскошная стряпня мадам Хаймович оставляла ее равнодушной. Мать Вирки, помню, называла ее «четверть курицы» и приводила в пример меня с моим хорошим аппетитом и довольно кругленькой фигурой: «Посмотри на Надю, она хотя бы полкурицы!» То есть даже моей полноты, которая меня злила и раздражала (в детстве меня все кому не лень дразнили «пышкой»), было для мадам Хаймович недостаточно.

– Мадам Иванова, – сказала Вирка, когда мы поели и помогли маме убрать посуду на кухню, – можно мне с Надей словечком перекинуться, шоб без лишних ушей?

Мама покраснела, я возмутилась: что за наглость?!

– У нас в доме нет никаких лишних ушей! – выкрикнула я.

– Извиняйте, – смутилась Вирка, – это туточки, у нас в Одессе, значит – с глазу на глаз. Откуда мне знать, шо вы не знаете?

– С глазу на глаз – можно, – усмехнулась мама, которой не хотелось, чтобы я из-за нее поссорилась с единственной подругой, которую завела здесь, и вышла из кухни.

– Надя, айда со мной! – заговорщически прошептала Вирка. – Тута такие дела…

Глаза у нее так и горели.

– Какие? – спросила я угрюмо: все еще обижалась на «лишние уши».

– Охота мне шляпку заказать, – сообщила Вирка. – Нужно, шоб кто-то понимающий посмотрел и одобрил.

Я вытаращила глаза. Вирка с ее вечно разлохмаченной роскошной черной гривой – и новая шляпка?! Это в моем сознании как-то не вязалось.

– С чего вдруг? – не скрыла я своего удивления.

– Охота понравиться одному человеку, – выпалила Вирка, и я только сейчас обратила внимание, что она прифрантилась: ее вечно пятнистая от грязи юбка с оборванным подолом выстирана и подшита (интересно, отец-портной помог или она сама потрудилась?), а вместо застиранной кофточки с дыркой под мышкой надета другая – ситцевая, неношеная, синяя в белый горошек, с залежавшимися складками от долгого хранения в сундуке, но все же новая и чистая. Похоже, Вирка и впрямь очень хотела кому-то понравиться.

– Я в таких буржуазных штуках, как шляпки, ничего не петрю, – продолжала она. – У тебя воспитание другое, ты их сама носишь.

«Их» – это было слишком громко сказано. Моей единственной шляпкой была самая простенькая, соломенная, над тульей которой я меняла ленты: то синюю нацеплю, то розовую, то зеленую, то белую. Шляпка то и дело слетала – улицы Одессы были пронизаны ветрами и сквозняками, – и мама подшила к ней резинку, так что шляпка по большей части болталась за спиной.

– И знаешь, где я иду? – загадочно взглянула на меня Вирка.

Я вспомнила, что в Одессе никогда не спрашивали «Куда идешь?» – это считалось неприличным, – и спросила ей в тон:

– Где?

– В «Парижский шик» на Греческой! – воскликнула Вирка торжествующе.

В самом деле – торжество было полным. Как ни мало я жила в Одессе, но уже успела заметить, что маленькое шляпное ателье было очень популярно среди местных модниц. В двери «Парижского шика» вечно входили и выходили оттуда

шикарно (одесское словечко, одно из тех, которые ко мне прилипли!) одетые молодые дамы. Правда, на мой взгляд, они выглядели несколько вульгарно, однако на всей Одессе лежал отпечаток некоей очаровательной вульгарности, так что это воспринималось как должное.

Конечно, я согласилась. Вирка простилась с моими родителями, я сказала, что провожу ее «немножко», мы вышли из дому и почти побежали к Греческой. Кругом царило какое-то сонное спокойствие – жара стояла ужасная, про лето даже подумать было страшно! Я подумала, что давненько что-то не натыкалась во время своих прогулок на митинги. Наверное, в такую погоду горло драть и руками махать было лень даже самым пламенным революционерам.

– Хороши висюльки у твоей матери, – вдруг сказала Вирка. – Ой, как хороши! Настоящие брюлики?

Брюликами в Одессе называли бриллианты, поэтому я ответила тоже по-одесски:

– Или!

Вирка, оценив это, засмеялась:

– Ах вы буржуи! В толк не возьму, через шо я с тобой дружу, представительницей чуждого класса, да еще и с русской!

– Ну и не дружи, – надулась было я и даже начала поворачиваться, чтобы уйти, но Вирка цапнула меня за руку:

– Ишь, какая цаца, слова ей не скажи, сразу кипяток устроит! Ладно, я извиняюсь. Пошли, пошли!

Вот и Греческая показалась. Мы свернули с Пушкинской, перешли через трамвайные рельсы и скоро оказались у крылечка ателье. Здесь стояли три прехорошенькие нарядные барышни, оживленно обсуждавшие выставленные в витрине шляпки – на мой взгляд, слишком нарядные. Впрочем, в самом ателье, наверное, были и другие, поскромней.

Я направилась было к крылечку, однако Вирка схватила меня за руку и заставила свернуть во двор. Дом опоясывала деревянная галерея, подпертая столбами, а в углу стояла цистерна для сбора дождевой воды с крыши, оставшаяся, видимо, тоже с доводопроводных времен. Не выпуская моей руки, Вирка потащила меня за цистерну, где обнаружились три ступеньки, спускавшиеся к тяжелой двери, окованной железом.

Я решила, что это черный ход, который ведет в ателье, хотя и не понимала, почему идти выбирать новую шляпку нужно таким таинственным путем. Однако мы оказались не в ателье, а в подвальном помещении, где собралось десятка полтора парней и девушек, которые оживленно переговаривались, освещенные несколькими керосиновыми лампами, стоявшими на тяжелом столе и на лавках.

– Вирка, где ты мотаешься? – сердито крикнул один из них. – Пора начинать собрание! Товарищи, прошу тишины!

Собрание? Так Вирка все же затащила меня на свое собрание!

– Ты меня обманула! – возмущенно прошипела я. – А ведь я тебе поверила!

– Ну и дура, шо поверила, – уничтожающе фыркнула Вирка. – Или не знаешь, что в «Парижском шике» заказывают шляпки только прошмандовки? Они снимают комнаты в гостинице «Пушкин» и водят туда клиентов, которых ловят где попало. Или шляются по номерам и обслуживают постояльцев. А я – революционерка, я презираю эти буржуазные глупости вроде шелковых шляпок, да еще тех, которые покупают всякие хабалки!

– Только не говори, что хозяйка «Парижского шика» тоже революционерка, – пробормотала я, – и она вам позволила провести здесь собрание.

– Не скажу, – хохотнула Вирка. – Она и знать не знает, шо мы туточки. Нас дворник пустил – он хороший человек, сочувствующий. И его сын с нами. Вон тот, рыжий, видишь? Мы здесь собрались, шоб создать первый в Одессе Союз революционной молодежи. Его организовал Сёма Урицкий. О, вот у кого голова наверху!

В Одессе, я уже успела узнать, это было высшей похвалой для умного человека.

– Но сейчас Сёма в Москве, – продолжала Вирка, – так шо собрание проводит его представитель. Он давно в Одессе, положение хорошо знает. Да ты только напряги голову: революционный Союз молодежи! Неужели это тебе не интересно?

«Совсем не интересно!» – хотела воскликнуть я, презрительным взглядом окидывая собравшихся, которые сгрудились вокруг какого-то высокого человека и наперебой что-то ему говорили. Он стоял в круге света, ярко освещенный лампой, и у меня сердце зашлось, когда я посмотрела на него повнимательней.

Это был Инсаров! Ни с кем другим я не могла его спутать! Его волосы, его глаза, его чуть горбатый нос, ямочка на подбородке…

– Ну шо, остаешься, нет? – сердито спросила Вирка.

В эту минуту Инсаров повернул голову и взглянул на нас. Прищурился, силясь рассмотреть получше, спросил:

– Девушки, вы что там у стенки топчетесь? Проходите сюда, садитесь ближе. Начинаем собрание!

Ну разве могла я теперь уйти?! Столько мечтать о встрече с Инсаровым – и наконец-то увидеть его!

Я все таращилась на него, не в силах тронуться с места. Вирка потащила меня за руку на первый ряд скамеек, но я вырвалась и села чуть поодаль. Вирка сердито фыркнула, но осталась со мной: наверное, думала, что я могу сбежать.

Сбежать! Да я ни за какие коврижки не ушла бы теперь! Сидела, сжавшись в напряженный комок, и смотрела, смотрела на Инсарова…

Может быть, дело было в свете ламп, который бросал неровные тени, но мне показалось, что он выглядит усталым и немного постарел. Но по-прежнему он казался мне самым красивым и волнующим мужчиной, которого я только видела в жизни. Мне и хотелось, чтобы он меня заметил, и в то же время я боялась этого. А вдруг он меня узнает? А вдруг он меня не узнает?! Я сама не знала, чего хочу.

Я почти не слышала, о чем идет речь, о чем говорят собравшиеся. Вдруг Вирка ткнула меня в бок:

– Ты шо, спишь? Нашла место! Приготовься! Надо назвать свою политическую платформу.

– Что-что? – испугалась я. – Это что такое?!

– Темнота… – простонала Вирка. – Надо сказать, какие твои партийные предпочтения. Ну, значит, в чьей партии ты состоишь! Большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов…

В памяти моей всплыла давняя сцена: я спрашиваю у Фролки, как фамилия того человека, которого они с Кирюхой называли дядей Сережей, и он отвечает: «Васильев. Он эсер».

– В партии эсеров! – выпалила я. – Моя политическая платформа – эсеры.

– Ну что ж, неплохо! – одобрительно взглянула на меня Вирка. – Даже если ты знаешь только это слово, уже неплохо! А моя политическая платформа – анархизм!

В этот момент как раз все разом умолкли, поэтому голос Вирки прозвучал неожиданно громко.

– Ого! – сказал Инсаров, близоруко щурясь и вглядываясь в нас. – Ну что же, выбор сейчас большой: в вашем городе действуют «Одесская федерация анархистов», «Вольный рабочий союз анархистов-синдикалистов», «Группа анархистов-индивидуалистов», «Южнорусская группа независимых анархистов», «Союз моряков-анархистов», «Группа анархистов завода „Анатра“», «Группа анархистов завода Попова», «Союз кожевенников-анархистов», «Союз по распространению анархической литературы», «Боевая дружина анархистов»… Так какой вид анархизма тебе ближе: анархо-коммунизм, анархо-синдикализм или анархо-индивидуализм?

– Вей из мир![10 - На иврите это восклицание соответствует русскому «Боже мой!»; буквально переводится как «Больно мне!».] – простонала Вирка. – А среди

здесь[11 - Среди остальных (одесский жаргон).] есть хоть кто-то еще, кто знает все эти слова, или ты самодин такой сильно умный?

Все так и грохнули хохотом. Инсаров тоже засмеялся.

– То дерьмо, и это дерьмо, и всё оно дерьмо, – подвел итог широкоплечий и рукастый человек, похожий на портового грузчика. – Курите «Сальве»!

Все опять буйно расхохотались. Улицы Одессы пестрели рекламными плакатами «Сальве» – знаменитых папирос с антиникотиновым мундштуком[12 - Так в описываемое время назывался папиросный фильтр.]. Рекламный текст гласил: «Слава уходит, как дым, деньги уходят, как дым, и ничто не вечно, кроме дыма папирос „Сальве“! Курите „Сальве“!»

– Придется тебе подковаться, Вирка, – подождав, пока наступила тишина, сказал Инсаров. – Хромаешь ты в политической терминологии. Надо с тобой отдельную работу провести.

– Надо! – воскликнула она с готовностью. – Давай проводи!

– Почему только с Виркой? – загалдели остальные. – Нужно всех подковать! Мы все хромаем!

– Хорошо, я для всех сделаю доклад о партийных течениях, – согласился Инсаров.

Я поняла, что следующий вопрос будет обращен ко мне, и забилась за спину Вирки.

– А эта девушка на какой политической платформе стоит? – спросил Инсаров. – Почему это она спряталась?

Вирка вытащила меня из-за своей спины. Я выпрямилась.

«Всё! Он меня сейчас узнает!»

Однако Инсаров смотрел на меня с таким же дружелюбным выражением, как на остальных:

– Ну что же ты молчишь?

У меня пересохли губы, ни слова я вымолвить не могла!

– Она эсерка, – наконец ответила за меня Вирка.

– Толково! – обрадовался Инсаров. – Значит, мы товарищи по партии? А как тебя зовут?

Я так и обмерла от этого вопроса.

– Нет, товарищ! – вдруг вскрикнул худенький рыжий парнишка с огромным носом, сидевший рядом с Инсаровым. – Мы ж сговорились, шо не будем называть друг друга настоящими именами – только псевдонимами! Ты же сам это предложил – и сам же порядок нарушаешь.

– Прошу прощения, – примирительно сказал Инсаров. – Конечно. Но вы же еще не взяли псевдонимы! Прошу начинать.

– Алексей Югов! – выпалил рыжий.

– Егог Пгохогов, – отчаянно грассируя, проговорил тощий кучерявый парень, и все захохотали.

– Придумай что-нибудь полегче, Моня, – дружески произнес Инсаров. – Чтобы не было буквы «р». Например, Михаил Климов. Подойдет?

– Михаил Климов, – повторил Моня задумчиво. – Нет, мне не нгавится. Лучше Леонид Советов.

– Прекрасно, – кивнул Инсаров. – Кто следующий?

Теперь голоса зазвучали со всех сторон:

– Игорь Шведов! Павел Седов! Сергей Павлов! Люба Хохлова! Валя Чехова!

Я растерянно озиралась по сторонам. Сначала я ничего не понимала, потом мне стало смешно.

– Слушай, – спросила я Вирку, – а зачем все это? Ну, псевдонимы? Как у артистов или циркачей.

– Ты тупая и даже не стесняешься этого! – уничтожающе прошипела Вирка. – Это все за-ради конспирации. Смекаешь? Слышала такое слово?

Я неопределенно повела головой. Это можно было бы принять и за «да» и за «нет». На самом деле это значило – нет.

– Когда начнется настоящая борьба, нам придется скрываться от врагов. И эти псевдонимы нужны для того, шоб нас не могли выследить и поймать, – торопливо пояснила Вирка.

– А почему они берут только русские фамилии и имена? Они же евреи.

Вирка отвела глаза:

– К любому еврею прежде всего прицепятся. А если в документах будет русское имя, глядишь, и свезет.

– Но они же не изменили внешность, – хихикнула я, потому что все это казалось мне смешной театральщиной. – Ты еще, может, и сойдешь за русскую… в темноте. А они уж точно не сойдут. Особенно этот, Прохог Егогов, – передразнила я.

– Не Прохор Егоров, а Егор Прохоров! – прошипела Вирка. – Чего раздуваешь щеки?! Моня, то есть Егор, между прочим, очень умный! И талантливый! Он играет в драматическом кружке и, когда входит в роль, совсем не картавит!

Она так жарко заступалась за этого «Пгохогова», что это показалось мне подозрительным. Уж не ему ли так хотела понравиться Вирка, что даже принарядилась?

– Ты по сравнению с ним голый ноль в пустом месте! Ничего не понимаешь! – продолжала Вирка шипеть, брызгая слюной. – Нас и так упрекают за то, шо в революционном движении слишком много евреев! Как будто мы для себя хотим бороться! Как будто мы для себя собираемся устроить мировую революцию!

Она так и жгла меня глазами!

Я тоже разозлилась и спросила:

– А для кого, если не для себя? Мне, например, никакой революции не нужно. И моим родителям тоже. Если хочешь знать, я бы и Февральскую революцию отменила.

– Шо?! – вытаращила глаза Вирка. – Это ж с ума сдвинуться мозгами, шо она буровит! Может быть, ты еще и царя вернула бы?

– Да! – с вызовом ответила я. – Вернула бы!

– Эй, девушки, будет вам жужжать, как рассерженные осы! – окликнул Инсаров. – Вы что, ссоритесь там? Нашли, понимаете, время для ссор. Скажите лучше, как мы будем вас теперь называть?

– Вера, – воскликнула Вирка. – Я теперь Вера Февралева. Виркой меня больше не зовите!

– Отлично, – одобрил Инсаров. – Вера – красивое имя. А фамилия – в честь Февральской революции… понимаю! А ты? – Он снова взглянул на меня. – Каким будет твое новое имя?

Он смотрел мне прямо в глаза, но в его взгляде не было и намека на узнавание. А ведь из-за него столько изменилось в моей жизни! Но он меня забыл. Ну так я ему сейчас напомню!

– Мое имя – Анастасия Романова! – чуть ли не крикнула я.

Инсаров прищурился. Больше ничего, он только прищурился, но я мгновенно поняла, что он меня узнал, он меня вспомнил!

– Романова? – фыркнула Вирка, то есть Вера Февралева. – Да это ж фамилия царей, веками эксплуатировавших русский народ, фамилия кровопийц!

– Да еще Анастасия! – возмутился Моня, то есть Егор Прохоров, то есть Леонид Советов. – Дочь царя, цагевна, и ее пгоклятое имя будет носить наш товагищ по богбе?!

– Да она немножко похожа на эту Анастасию, вы шо, не видите? – захохотал рыжий Алексей Югов. – Наверное, ты этим очень гордишься? – с презрительным видом повернулся он ко мне. – Так вот, гордиться тут нечем, наоборот, тебе стыдиться надо!

Я не успела ответить – меня перебил Инсаров.

– Да, псевдоним не самый удачный, – сказал он спокойно. – Я бы посоветовал тебе называться, например, Еленой. А фамилия пусть будет… ну, Стахова, что ли.

У меня сердце чуть не остановилось. Елена Стахова! А он – Инсаров! Герои романа «Накануне»!

– О, да это из Тургенева! – громогласно заявила Вирка. – Из «Накануне»! Надя очень любит эту книгу.

– Я тоже люблю, – кивнул Инсаров, чуть улыбаясь. – Мой партийный псевдоним взят оттуда.

Так его псевдоним в самом деле Инсаров? А я думала, что только я одна его так называла… Он – Инсаров, а я теперь – Елена Стахова… Но ведь у Тургенева они любили друг друга!

Я вообще ничего не соображала в эту минуту, только видела, что Инсаров отошел от меня, начал разговаривать с ребятами, потом они начали прощаться с ним и расходиться по одному, с преувеличенной осторожностью.

Я с отчаянием думала, что и нам с Виркой пора уходить, а Инсаров? Куда пойдет он? Увижу ли его снова? Как я могу уйти, как могу расстаться с ним?!

– Ну что, пойдем? – пробормотала Вирка, но не тронулась с места.

Она не сводила глаз с Инсарова.

Наконец все разошлись, остались только мы трое и один паренек – кажется, тот, кто назвался Павлом Седовым. Наверное, это и был внук дворника. Он стоял, побрякивая ключами и нетерпеливо глядя на нас. Видимо, ему нужно было закрыть подвал. А Инсаров все не уходил, задумчиво поглядывая на меня.

– Тебя зовут Надя, да? – спросил он. – Ты ведь дочь Владимира Петровича Иванова, инженера-путейца?

У меня просто ноги подкосились, так остро я вспомнила нашу первую встречу! Он задал мне тогда точно такой же вопрос.

– Откуда ты знаешь ее настоящее имя? – изумилась Вирка. – Ее ведь никто по имени не называл.

– Я видел Надю, когда она приходила к отцу в депо, – не моргнув глазом соврал Инсаров. – Пойдемте, девушки, я вас домой провожу. Уже темно. Опасно красивым девушкам ходить по такому вольному городу, как Одесса, одним в темноте! Сейчас много народу лихого развелось, я потом ночь спать не буду от беспокойства.

Мы выбрались из подвала, потом вышли со двора, спотыкаясь на неровной брусчатке и находя дорогу в слабых полосах света, которые тянулись из окон. По Греческой прошли на Пушкинскую.

– Давай сначала Надю проводим, а потом меня, – сказала Вирка. – Она почти возле Ланжероновской живет.

– А ты где? – спросил Инсаров.

– О, я туточки близенько, не доходя до вокзала, – беззаботно махнула она рукой.

– В самом деле, близко, – согласился Инсаров. – Тогда мы лучше сначала проводим тебя, а потом я отведу Надю. Зачем тебе туда-сюда мотаться? А мне нужно через Надю кое-что ее отцу передать.

– Тогда не надо меня вообще провожать! – зло крикнула Вирка. – Шо на меня время зря тратить?!

И убежала в темноту, звонко щелкая по мостовой подошвами своих растоптанных сандалий.

– До свиданья, Вирка! – промямлила я, но она, конечно, не ответила.

Я была и рада, что она ушла, и страшновато мне стало. И непонятно, с чего она вдруг взбеленилась?

Инсаров ничего не сказал. Мы повернули в сторону Лонжероновской и неспешно пошли под платанами.

Смерклось; свет из окон почти не проникал сквозь листву, но как же сладко пахли сады! Куда слаще, чем днем! Потом показалась луна, эта изумительная, ни с чем не сравнимая одесская зеленоватая луна, и мы шли в этом сладком аромате, под луной, плывущей в вышине, и это было похоже на сказку, на сбывшуюся мечту.

Я ни разу в жизни не была так безмятежно счастлива, как тогда, тем вечером! Инсаров молчал; мне и хотелось услышать его голос, и в то же время хотелось, чтобы длилось, длилось это удивительное молчание, которое нас связывало и объединяло.

– Ты очень неосторожна была с этим псевдонимом, – наконец сказал Инсаров тихо. – Конечно, внешне ты очень изменилась, повзрослела, и я бы не узнал тебя, если бы не псевдоним. Когда смотрел на тебя, чувствовал что-то знакомое, но не узнал бы.

– Я нарочно сказала, – смущенно призналась я. – Чтобы вы обратили на меня внимание. Чтобы вы меня вспомнили!

– А почему ты говоришь мне «вы»? – удивился Инсаров. – Ты же слышала, мы все держимся по-товарищески.

– Не знаю, – смутилась я. – Мне вообще трудно переходить на «ты» с малознакомыми людьми.

– Что, надо обязательно пить на брудершафт? – усмехнулся Инсаров.

Я вспомнила, что, когда пьют на брудершафт, не только переходят на «ты», но и целуются, – и онемела. Мы какое-то время шли молча, и вдруг Инсаров сказал:

– Между прочим, я тебя не забывал. Никогда не забывал ту смешную и дерзкую девочку, какой ты была тогда. Честно говоря, я не ожидал, что мои слова произведут на твоего отца такое сильное впечатление. Думал, что он просто предостережет тебя, вразумит, чтобы помалкивала, – а ваша семья вдруг исчезла. Узнав об этом, я почувствовал себя виноватым. Пришел в ваш дом… Там уборщица из депо наводила порядок для нового инженера, который должен был приехать на днях. На крыльце стояла корзина с мусором, а в ней сверху лежала книжка – «Накануне». А мне читать было в то время совершенно нечего! Уборщица сказала, что нашла ее под кроватью. Я спросил, можно ли мне книгу забрать. Уборщица только хмыкнула: «Да на что она мне? Я ж неграмотная!» Ну, я обрадовался и забрал роман. Я тогда впервые прочитал Тургенева. Наверное, это была твоя книжка? Ты ее забыла, когда вы спешно собирались?

– Ну да… – промямлила я. – Забыла… нечаянно…

Не могла же я ему сказать, что нарочно бросила «Накануне» под кровать – со злобой бросила, потому что считала, что Инсаров меня предал! Это же прозвучит почти как объяснение в любви! Поэтому я и соврала.

– Наверное, я должен вернуть ее тебе? – нерешительно спросил Инсаров.

– Нет, спасибо, у меня есть другая! – в очередной раз соврала я.

Пусть у него останется эта книжка – на память обо мне. А вот интересно, мой портрет, то есть портрет Анастасии, он выбросил? Да уж, наверное, не хранит до сих пор! Глупости какие!

– Хорошо, – сказал Инсаров. – Я с тех пор много у Тургенева прочитал, однако «Накануне» – это моя самая любимая книга. Я даже новый псевдоним себе взял оттуда.

– Я зачем вам псевдонимы? – с тревогой спросила я, чувствуя, что ни за что на свете не смогу обратиться к нему на «ты». – Разве вы скрываетесь от полиции? Вы… бежали из Угрюмска?

Я благоразумно проглотила вопрос: «Или разве вы еврей, что вам нужен русский псевдоним?» Тем более что мне было совершенно безразлично, кто он по национальности. Как сказал бы мой отец, «да хоть готтентот»! Он был – он!

– Нет, я не бежал, – усмехнулся Инсаров. – Меня освободила революция, как и очень многих ссыльных. Помнишь Фролку и Кирюху? Их родители теперь тоже свободны, а мальчишки стали закаленными боевиками.

– Да они и были боевиками, сразу в драку лезли, – пробурчала я.

– Они и теперь готовы к драке, – сказал Инсаров. – Ведь главная борьба у нас еще впереди!

– Что, за мировую революцию? – внезапно разозлилась я. – Разве вам мало того, чего вы уже добились? Царя вон свергли. Семью его в ссылку закатали… Вот вам разве хорошо было в ссылке? А ему каково? Его дочкам каково?

– Между прочим, к его дочкам я очень хорошо отношусь, особенно к одной, – весело сказал Инсаров. – Я бы их отпустил – пусть живут, как хотят, едут, куда хотят. Николая бы, конечно, оставил под арестом. Впрочем, надеюсь, рано или поздно состоится справедливый революционный суд, который решит судьбу и царя, и его семьи.

– Но их же не убьют? – с надеждой спросила я. – Девушек не убьют?

– Я тебе уже говорил, что революционеры не воюют с девчонками, – с ноткой раздражения бросил Инсаров.

Я оробела и почти обрадовалась, заметив, что мы уже рядом с моим домом.

– Мы пришли, – прошелестела я. – Спасибо, что проводили меня.

– Надя, погоди, – быстро заговорил Инсаров. – Я хотел…

Он осекся, потому что из нашего полутемного двора вдруг кто-то выскочил и бросился к нам. Я испуганно отпрянула, оступилась, чуть не упала. Инсаров подхватил меня под руку; на мгновение я прижалась плечом к его худой, но сильной руке – и отпрянула, будто обожглась. Ощущение было такое сильное, такое острое, что я словно ослепла, оглохла на это мгновение, и откуда-то издалека до меня донесся удивленный голос Инсарова:

– Вирка? Ты что здесь делаешь?

«Какая еще Вирка?!» – как в тумане подумала я, но тут же поняла: да та самая, Вирка Хаймович – Вера Февралева, какая же еще! Но откуда она тут взялась?

– Долго ж вы шли! – издевательски хмыкнула Вирка, сверкая в темноте глазами. – А я вдруг вспомнила, шо забыла у тебя дома, Надя, одну важную бумагу, и побежала через дворы. Но она оказалась у меня в кармане, как я ее не заметила, не понимаю! – Она выхватила из кармана юбки какой-то сложенный вчетверо листок и помахала перед моим носом. – А теперь, Инсаров, тебе придется меня проводить, – протянула она не без злорадства. – Ты же ж не можешь допустить, шоб девушка шла одна в такой темнотище. Да нам же ж и по пути. Ты в «Пушкине» остановился? Ох, там соседки у тебя веселенькие!

Она захохотала. Инсаров усмехнулся в ответ, а я вспомнила слова Вирки: «Или не знаешь, что в „Парижском шике“ заказывают шляпки только прошмандовки? Они снимают комнаты в гостинице „Пушкин“ и водят туда клиентов, которых ловят где попало. Или шляются по номерам и обслуживают постояльцев».

И ему не стыдно, что живет в таком месте! Стоит и усмехается! А Вирка так и выплясывает перед ним!

Только теперь я поняла, кому она хотела понравиться, для кого подшила и постирала свою вечно замызганную юбку и надела новую кофточку. Она тоже неравнодушна к Инсарову, она потому и предлагала сначала меня проводить, что хотела остаться с ним наедине. Ну вот теперь и останется!

– До свиданья! – сухо произнесла я. – Хорошей прогулки!

Какое-то мгновение надеялась, что Инсаров задержит меня, хоть что-то скажет на прощание, но он только кивнул, а Вирка издевательски протянула:

– Приятных снов, Елена Стахова!

Я ринулась во двор. Только теперь вспомнила, что Инсаров хотел что-то передать отцу, но возвращаться и спрашивать его не собиралась. Не могла больше видеть ни его, ни Вирку!

Я влетела в квартиру и наткнулась на маму в капоте и в наполовину накрученных на влажные волосы папильотках.

– Поздно гуляешь, барыня, – сказала она сердито, замахиваясь на меня полотенцем, которое держала в руках. – Что за мода – шляться по ночам! Нет, надо, надо на дачу уезжать, чтобы ты все время под присмотром была, там не больно-то пошляешься в темноте, ноги в буераках переломаешь!

Перевела дух, взглянула на меня и, наверное, поняла, что я чем-то очень огорчена, потому что резко сменила тон и перевела разговор на другое:

– Вирку видела?

– Видела, – буркнула я, и мама рассказала:

– Прибежала сюда как бешеная, начала по комнатам метаться, якобы какую-то бумажку забытую ищет, переполошила нас, а потом взглянула в окно – и ну бежать. Я уж забеспокоилась: не стибрила ли чего ценного?

– Мама, мама! – чуть ли не всхлипнула я.

Пусть думает, что от смеха, а между тем я еле сдерживала слезы горя, обиды, ревности…

– Нужны Вирке твои ценности как собаке пятая нога! Для нее это буржуазный предрассудок, вот и все, – стараясь говорить как можно спокойней, пояснила я. –

Ей не ценности были нужны и никакая не бумага, а…

Тут голос меня снова подвел – пришлось умолкнуть, чтобы не расплакаться.

– А что тогда? – удивилась мама.

– Да ну ее, – буркнула я, снова ухитрившись взять себя в руки. – И знаешь что, мама, правильно ты говоришь, что на дачу надо уезжать. Я хоть завтра готова!

«С глаз долой – из сердца вон!» – подумала я и, пожелав маме спокойной ночи, пошла в свою комнату. Мне необходимо было остаться одной, чтобы хоть поплакать на свободе.

Он говорил, что должен провести с Виркой работу… помочь разобраться в политической обстановке… Интересно, они в самом деле только разговоры разговаривали?!

Ночью я почти не сомкнула глаз.

Здесь, в Одессе, я слышала выражение «влюблена как кошка». Не знаю, откуда оно взялось и при чем тут вообще кошка… может быть, это означает, что любовь вцепляется в сердце и рвет его, будто когтями? Похоже на то, что я чувствовала.

С утра пораньше мы собрали вещи, которые могли понадобиться на даче, и в открытом летнем трамвае, который продувался ветерком даже в самые жаркие и душные дни, поехали по узкоколейке на 16-ю станцию.

На Большой Фонтан!

* * *

Дом, в котором мы поселились, имел два входа, обращенных в разные стороны, с садиками при каждом, так что мы с соседями жили практически отдельно. Дом был хорошенький, чистенький, очень уютный, украшенный резьбой, но я его невзлюбила с первого взгляда: уж очень он напоминал тот домик на Тихоновской в Нижнем Новгороде, которого я так боялась! Перед воротами, на

глинистой утоптанной улочке, стояла высоченная черная шелковица, на которую, впрочем, никто не обращал внимания, потому что дом был окружен прекрасным садом, где уже вовсю поспевали вишня, черешня и «аберкосы» (так в Одессе называли абрикосы), и это несколько отвлекло меня от неприятных воспоминаний. Мы с мамой сразу начали варить варенье на зиму (жаль, что так и не довелось его попробовать!). За продуктами я ходила на 16-ю станцию, где находился маленький базарчик. Туда стекались все дачники, потому что там можно было по бросовым ценам купить тюлечку, бычки, глосика (то есть камбалу), скумбрию и другую черноморскую рыбу, молоко, мед и зелень, если она не росла в вашем огороде. С сахаром случались перебои, он то бывал в лавочке, то исчезал на несколько дней, а ягода не ждала, плесневела, поэтому мы приспособились варить варенье на меду (нашли пасечника, у которого с прошлого года остался засахаренный мед), а еще готовить «пьяную вишню» с помощью самогонки, которую можно было достать чуть ли не у всех дачников. Этому мама научилась в Нижнем Новгороде. В хозяйстве тети Вали нашлось немало банок, которые отец перевез к нам, мы их очень ретиво заполняли, так что пальцы у меня постоянно были черные от вишневого и черешневого сока. Варенье наливали в банки, сверху укладывали картонные кружочки, пропитанные ромом (тоже из запасов тети Вали), покрывали банку бумажкой, обвязывали веревочкой и аккуратно писали химическим карандашом: «Черешня, 1917 г.» или «Вишня, 1917 г.». Банок уже набралось больше десятка, но все же ягоды еще оставалось очень много, поэтому мы набрали однажды огромную корзину и отправили ее с отцом мадам Хаймович – в благодарность за то, что она нас приютила весной. Когда отец приехал в следующий раз, я спросила, видел ли он Вирку. Нет, ее не оказалось дома, и я была разочарована. Как ни странно, я скучала по ней, она добавляла остроты в мою жизнь… иногда этой остроты бывало чересчур, как красного перца в борще, но сейчас мне ее не хватало.

Прошло недели две, и наши соседи внезапно, без всякого предупреждения, съехали, даже слова не сказав, а потом однажды отец приехал среди недели, вдобавок с самого утра, причем очень встревоженный, с тяжелым саквояжем в руках. Он привез кое-какие ценные вещи, потому что в городе начались грабежи, и он считал, что все это на даче будет в большей сохранности. Оказывается, недавно на волю было выпущено множество уголовных преступников, и в Одессе воцарился настоящий бандитизм, причем с «модными» лозунгами: «Грабь награбленное!», «Режь буржуев!». Уголовники убивали даже милиционеров, а потом под видом милиции являлись к людям и грабили. Их поддерживали большевики и анархисты, которые звали к немедленному переделу собственности и расправе над «богатеями». Матросы и «цивильные»

анархисты тоже принимали участие в квартирных кражах. Наши соседи по даче так спешно уехали потому, что их квартиру взломали и вынесли оттуда все ценное.

– А мадам Волчок повезло, – сказал отец (Волчок – это была фамилия его знакомого инженера). – Когда к нему пришли, семья сидела за ужином. Мадам Волчок быстро сняла свой жемчуг и опустила в супницу. У них немало унесли, а жемчуг они сохранили!

– Какая хитроумная эта мадам Волчок! – восхищенно ахнула мама.

Открыв саквояж, я изумилась. Там лежало завернутое в полотенце столовое серебро, серебряные подстаканники, мамина соболья горжетка и чернобурый лисий воротник («меха», как пышно называлось это у нас в семье), а еще старый плюшевый жакет. Я его всю жизнь помнила, он был кое-где залатан, кое-где молью побит, и непонятно, почему его следовало прятать от грабителей и увозить на дачу.

– Папа, а это ты зачем привез? – засмеялась я, вынимая жакет, но мама выхватила его у меня, прижала к груди и испуганно спросила:

– А вдруг сюда придут грабить?

– На дачу ценности люди обычно не возят, – веско ответил отец. – Что тут можно взять?

– Дай Бог, дай Бог, – пробормотала мама.

– Ты на всякий случай серьги свои сними да припрячь, – посоветовал отец. Он пообедал с нами и поспешил на станцию.

Я проводила его до калитки, и он вдруг сказал:

– Ах да, чуть не забыл! Сегодня утром, когда вещи собирал, прибегала Вирка. Хотела с тобой повидаться, куда-то позвать, не то на гулянку, не то на собрание какое-то, но я сказал, что ты на даче на Большом Фонтане.

– Нужны мне те гулянки и те собрания! – независимо фыркнула я, но на самом деле мне было приятно, что Вирка меня искала.

А вот интересно, придет ли на то собрание Инсаров?…

Нет! Мне это неинтересно! Совсем!

После возни с очередной порцией варенья и обеда я мыла посуду в саду (там стояла большая-пребольшая цистерна с дождевой водой, для питья она не годилась, мы ходили с ведрами к небольшому ручью, но для хозяйственных нужд подходила вполне), когда вдруг услышала жалобный мамин крик. Перепугалась, влетела в дом – и увидела ее лежащей на полу в кухне около лестницы, которая вела на чердак. Рядом с ней валялся на полу тот старый жакет.

Оказывается, она хотела подняться на чердак, но оступилась и подвернула ногу.

– Зачем тебе на чердак-то было лезть? – изумилась я, помогая маме подняться и ведя ее к дивану.

– Показалось, там кто-то бегает, – сказала мама. – А вдруг крысы?

– Да нет там никаких крыс, что за ерунда, – отмахнулась я, машинально убирая жакет в шкаф.

В самом деле, когда мы только приехали, приходил морильщик, поэтому во всех углах чердака и погреба была до сих пор разбросана отрава.

Врача среди дачников не было, однако на 16-й станции в будочке диспетчера имелся телефон: при надобности можно было позвонить в город. Однако мама сказала, что никакого врача звать не нужно, велела мне помочь ей лечь, натуго перевязать ее ногу, принести в миске лед с ледника, чтобы опухоль спала, найти в саду ветку, на которую она могла бы опираться, если понадобится пойти по нужде, поставить около ее кровати, а самой мне сбегать наконец на море, искупаться.

Я растерянно хлопнула глазами. За две недели этой суматохи со сбором ягод и их заготовкой я вообще забыла о том, что под обрывом, который находился буквально в двух шагах от нашего дома, плещется море! И сейчас мне вдруг остро захотелось искупаться. Неловко было оставить маму, но она ведь сама просила пойти.

Я сделала все, что она велела; на всякий случай лицемерно спросила:

– Может быть, мне остаться? – и, услышав категорический отказ, схватила полотенце и помчалась, с трудом скрывая радость, к берегу.

У меня дух захватило при виде бирюзового моря, которое странно и чудесно сочеталось с рыжим ракушечником и глиной резко обрывавшегося берега. Вниз, на пляж, вела извилистая тропка, по которой я и заскользила, поднимая тучи рыжей пыли и хватаясь за серебристые стебли полыни, обрамлявшей тропу. Кое-где в почву мертвой хваткой вцеплялся боярышник, избитый и причудливо искривленный ветрами. Я старалась не думать, как тяжело будет после купанья карабкаться наверх.

Наконец я оказалась на узкой полоске пляжа: галька, немного песка, серое каменистое дно, видное сквозь тихую воду, а недалеко от берега «скалки» – не слишком высокие глыбы ракушечника, источенные волнами и позеленевшие от водорослей. До некоторых из них можно было дойти по мелководью, поэтому кое-где на «скалках» виднелись фигуры рыбаков с бамбуковыми закидушками.

Берег был почти пуст – большинство дачников уходило с утра, прихватив воду и провизию, на пляж 14-й станции. Ради хорошего песка и мягкого дна они не ленились пройти два километра туда, два назад, но мне не хотелось оставлять маму в одиночестве надолго.

Я сняла сарафан, вошла в воду, поджимаясь от соленой прохлады, радостно окунулась, немного поплескалась (плавать я почти не умела) и решила подождать, пока подсохнет мой купальный костюм, а потом вернуться домой.

Легла на полотенце, с удовольствием чувствуя, как солнце ласкает мои незагорелые плечи, но твердо решив не пережариться, как вдруг услышала почти рядом плеск весел и веселый смех. Я не повернула головы, но вскоре услышала, как лодка ткнулась в берег, а потом заскрипела галька под шагами

вновь прибывших.

Судя по слишком громким выкрикам, компания была навеселе. Такое соседство меня огорчило. Я приподнялась, потянула к себе платье, как вдруг перед моими глазами оказались худые загорелые ноги, и знакомый голос воскликнул:

– Да ведь это наша Елена Стахова!

Я так и подскочила.

Вирка! В своей старой, линялой кофтенке, в подоткнутой выше колен юбке, растрепанная, с облупившимся от солнца носом… Рядом знакомые мне по собранию в подвале «Парижского шика» Югов и Прохоров, еще двое каких-то парней, которые бесцеремонно разглядывали меня. Я застеснялась своего открытого костюма с коротенькой юбочкой, едва прикрывающей бедра, и поспешно напялила сарафан.

– Ребята, оттащите лодку подальше на берег, шоб не снесло да реквизит не промок, – скомандовала Вирка и весело повернулась ко мне:

– Скучаешь? Зря сюда укатила. У нас в городе весело!

– Сегодня приезжал отец, рассказывал, как у вас весело, – сухо ответила я, изо всех сил стараясь скрыть, что рада ее приезду. Конечно, мне до смерти захотелось спросить про Инсарова, однако я лучше язык бы себе откусила, чем завела бы о нем разговор.

Вирка взглянула на меня хитро:

– Небось скучаешь по Инсарову? Да наплюй и разотри. А между прочим, он больше не Инсаров. У него теперь новый псевдоним: Тобольский.

– Почему? – изумилась я.

– Да он родом из Тобольска, оказывается, – небрежно объяснила Вирка. – Мне без разницы, Инсаров он или Тобольский! Он, конечно, в своем деле ушлый хавчик, но эсер есть эсер, никакого в нем куражу и азарта, скучно с ним. А уж как мужик

– таки вообще никто, нигде и никогда.

– А ты откуда знаешь, Вега, какой он мужик? Пговегяла, шо ли? – спросил Прохоров, как всегда, устрашающе грассируя.

Я вспомнила, как Вирка хвалила его актерские способности, мол, он говорит очень чисто, когда на сцене, – и это воспоминание почему-то помогло мне собрать остатки гордости и независимо пожать плечами:

– Меня это не интересует.

– Ну-ну, – издевательски протянула Вирка. – Ладно, кто куда, а я купаться!

Она мигом скинула кофточку, спустила юбку – и вдруг оказалась совершенно голой. Ни рубашки, ни штанишек на ней не было. Даже не подумав прикрыть стыдное место, густо и черно курчавившееся, она повернулась и помчалась в воду, смешно подпрыгивая на колючей гальке.

Что я, что парни таращились на ее загорелую, худющую, с отчетливо выступающими позвонками спину и тощенькие ягодицы, натурально разинув рты.

– Тьфу, оторва! – возмущенно возопила лежавшая неподалеку дачница, прикрытая от яркого солнца широким ситцевым капотом. – Ни стыда ни совести!

– Геволюционегы отвеггают стыд как пегежиток пгошлого! – вскричал Прохоров, сбрасывая рубашку и ветхие брюки, закатанные до колен. Совсем растелешиться он, впрочем, не решился и помчался в воду в исподниках.

Его примеру последовали и остальные парни. Черная мокрая блестящая голова Вирки качалась на волнах уже довольно далеко от берега; парни ретивыми саженками догоняли ее.

– Геволюционегы! – презрительно передразнила дачница, приподнявшись и глядя на сверкающее море из-под руки, а потом громогласно изрекла: – Ох, раскорячат девку эти геволюционеры, как пить дать! Все по очереди и раскорячат, а то и зараз! Хотя ей небось не привыкать, такие хабалки у ейных

мамы с папой уже сразу не девками родятся!

И она снова улеглась, заботливо расправив завернувшийся капот, а я схватила сандалии и полезла в гору с очумелой скоростью, словно Вирка могла догнать меня и затащить в море, как тогда затащила на их дурацкое собрание в подвал. Я бежала со всех ног, задыхаясь не то от пыли, не то от горя и ревности. Иногда все вокруг начинало расплываться, я смахивала слезы и ужасно злилась на себя за то, что плачу.

Было бы из-за чего!

Да, было…

Он даже псевдоним изменил! Единственное, что нас связывало!

Навстречу бешеными скачками, вздымая клубы рыжей пыли, спускался какой-то парень. Поскользнулся, чуть не сбив меня с ног и сам чуть не упав. Взмахнул, чтобы удержаться, грязными, почти черными руками, но все же устоял и с еще большей прытью понесся вниз.

Дойдя до дому, я чуть не упала у калитки в скользкой грязной луже: почему-то с шелковицы ссыпалось много ягоды, да еще ее кто-то растоптал.

Я набрала воды из цистерны, чтобы обмыться и простирнуть просоленное и пропыленное платье, да и успокоиться немного. Повесила его сушить и в одном купальном костюме пошла в дом.

– Надо было обсохнуть как следует, – сказала мама, стоявшая на крыльце, держась за перила.

– А что ты без палки вышла?

Я быстро переоделась в халатишко и только тогда обернулась к маме, надеясь, что с лица уже исчезли следы слез.

– Да она сломалась, – засмеялась мама. – Вон обломок на кухне валяется. Ничего, мне уже лучше.

И она, припадая на перевязанную ногу, потащилась в комнату, к дивану.

Я вошла на кухню, подняла с полу суковатый обломок, лежавший у печки, огляделась в поисках второй половины и вдруг обнаружила ее на ступеньках, ведущих на чердак.

– Ты что, обратно на чердак лазила? – возмутилась я. – Там обратно что-то шуршало?!

– Не говори «обратно», это ужасно! – плаксиво возмутилась мама, которую страшно раздражал одесский словарь, и при ней мне приходилось следить за языком. – Да, там снова что-то шуршало. Я даже вздремнуть не могла. Знаешь, как страшно было! И я снова туда поднялась.

– Нашла крыс?

– Нет.

– Ну и хорошо, – вздохнула я. – Лежи, а я суп сварю.

Я переоделась и взялась за приготовление ужина. Примус еле-еле горел: керосин был на исходе, а на станцию бочка придет только послезавтра. Вот странно: почти во всех дачах Большого Фонтана было проведено электричество, которое пусть и тускловато, и моргая, но горело, а керосин подвозили раз в неделю. Конечно, это я виновата, прозевала.

Только в сумерках суп был готов.

Мама, прихрамывая, дошла до стула и села, мы поели, правда, без особого аппетита, почти полкастрюли осталось. Я взяла полотенце, чтобы прихватить еще горячую кастрюлю и снести на ледник: ночи были жаркие, не хотелось, чтобы суп прокис. Вдруг заскрипел песок садовой дорожки под чьими-то быстрыми шагами, потом кто-то тяжело прошел по крыльцу, заколотил в дверь:

– Открывайте! Народная милиция!

Мама приподнялась за столом, испуганно уставилась на дверь:

– Милиция? Что случилось? Надя, открой!

Но я не двинулась с места. Мгновенно вспомнились слова отца: грабители являлись в квартиры под видом милиции. А вдруг?…

Метнулась в комнату, схватила мамину сумочку, где лежали все наши деньги (в шутку мы называли ее «денежная суммочка»), сдернула маму с табуретки, бросила на сиденье сумку:

– Сиди и не вставай ни за что!

– Открывайте, быстро, а то будем ломать дверь!

Что-то остро блеснуло… да это же ее серьги.

Хитроумная мадам Волчок немедленно вспомнилась мне.

– Серьги сними, быстро! – шепнула я.

Мама мигом выдернула серьги из ушей, я схватила их, пометалась взглядом по кухне, потом бросила их в кастрюльку с супом, брякнула сверху крышку и только тогда пошла к двери.

Отодвинула засов – и отпрянула так резко, что чуть не упала. На пороге возвышалась впечатляющая фигура: долговязый матрос, перетянутый пулеметными лентами. За плечами – винтовка, на поясе – кобура с револьвером и две «бомбочки»[13 - В описываемое время так обыватели называли гранаты-лимонки.]. За спиной матроса маячили какие-то фигуры, одетые с бору по сосенке. Они производили бы комическое впечатление, если бы не их угрюмые рожи с густыми бородами и усами, да если бы не были буквально увешаны оружием. Именно такими описывал заполонивших Одессу анархистов отец.

– А ну, подымите руки выше плеч! – скомандовал матрос.

– Здравствуйте, – пролепетала моя вежливая даже в полубессознательном состоянии мама, поднимая дрожащие руки, однако матрос в ответ рявкнул:

– Во-первых, буржуи, без шума и пыли давайте сюда ценности и деньги, не то положим всех на месте и сами возьмем.

– А во-вторых? – растерянно спросила мама.

– А во-вторых, вам шо, не нравится во-первых? – подбоченился матрос и открыл кобуру.

Мама, взвизгнув, подскочила со стула и, схватив нашу «денежную суммочку», протянула ее матросу:

– Вот. Берите. Это все, что у нас есть. Берите и уходите, пожалуйста!

Тот охотно сцапал сумку и сунул ее под мышку.

– Это все, что у нас есть? – передразнил с издевкой. – Расскажите это своей бабушке!

– Шо, даже к столу не пригласите, мадам Иванова? – ухмыльнулся невысокий носатый анархист в низко нахлобученной на лоб фуражке. Козырек был такой большой, что почти закрывал его лицо. – Мы еще не собираемся уходить. Я бы не прочь пожрать вашего супешника. Но прежде всего начинаем обыск, товарищи! Товарищ Микола, держи их на мушке, – приказал он матросу. – А мы с товарищем Стаховым в комнате пошарим.

Он сделал приглашающий жест худому человеку в низко нахлобученной шляпе и в больших очках. Одет он был в старую солдатскую шинель с поднятым воротником.

Почему-то меня резануло по сердцу, что какой-то мерзавец носит эту фамилию. Это я – Елена Стахова! Так меня назвал Инсаров!

Ни за что я не могла называть его Тобольским, ни за что!

Просто удивительно, какая чушь может лезть в голову в такой жуткий момент!

– Да ладно, товарищ Комар, шо тут с ними чикаться? – шагнул вперед устрашающе косматый черноволосый парень в каком-то лапсердаке с длиннющими рукавами и в атласных фрачных брюках, заправленных в футбольные бутсы. Эти бутсы были удивительно грязными, перепачканными чем-то фиолетовым, вроде чернил, да еще густо припорошенными рыжей пылью. – Щас все будет тип-топ!

И он проворно взбежал по лесенке, ведущей на чердак.

– Ах! – громко воскликнула мама, отчаянно взмахнула руками и начала валиться с табуретки. Я кинулась к ней, подхватила. Она была в обмороке.

– Помогите! – крикнула я. – Помогите мне отнести ее в комнату, положить!

Незваные гости глянули на меня мельком и с места не сдвинулись. Никто! Я сама кое-как уложила маму прямо на кухонный пол. Главное, что она не упала и не ушиблась.

Я с ужасом всматривалась в ее бледное лицо. Хотела брызнуть в лицо водой, чтобы привести в сознание, но передумала. Пусть лучше лежит в обмороке и не видит этого кошмара.

Что будет дальше? Деньги уже у грабителей. Что они надеются найти на чердаке? У нас нет совершенно ничего ценного, кроме столового серебра и маминых «мехов», которые привез отец из города. Если им этого будет мало, что они сделают с нами? Застрелят?

Если застрелят, пусть мама хотя бы не узнает об этом!

На чердаке послышался топот, потом анархист в чумазых бутсах сбежал по лесенке, потрясая… тем самым суконным жакетом, который привез отец!

Я вытаращилась на него, не веря глазам.

– Во! – радостно воскликнул анархист. – Под крышу запрятала, а шо толку? Я ж все видел!

«Как это он мог видеть?» – тупо подумала я.

– А ну покажь! – скомандовал тот, кого называли товарищ Комар: носатый, в фуражке.

Он взял жакет, рванул край подкладки, тряхнул над столом…

Я потрясла головой. Думала, мне мерещится: из прорехи посыпались на стол золотые монеты, жемчуг, какие-то кольца… Зажмурилась, открыла глаза, надеясь, что морок исчезнет, но нет – все было на месте: золото, жемчужины, кольца!

Так вот где родители хранили ценности, на которые мы все время жили! Вот почему отец привез жакет на дачу! И что из этого вышло?!

– Ага! – с удовольствием протянул матрос. – А подняла какой хаёшь: нету ничего, нету! Глядишь, хорошо пошарим, еще чего-нибудь найдем.

– Надо уходить, – вдруг хриплым, ломким голосом сказал анархист в шинели. – Хватит с нас, пошли!

– Ладно, пошли, – согласился товарищ Комар. – Но супешника мы все же пожрем.

Он поднял крышку с кастрюли, схватил поварешку, зачерпнул суп, с шумом отхлебнул, но вдруг уронил поварешку, закашлялся, сплюнул на ладонь – и я увидела среди мелко нарезанной капусты и картошки одну из маминых серег. Бриллиант ярко сверкнул в свете лампочки.

– Так вот какие вы супчики варите? – протянул товарищ Комар и принялся резво шуровать поварешкой в кастрюле. Через миг он выудил и вторую серьгу, стряхнул с нее лепестки капусты и протянул серьги анархисту в шляпе: – Держи, товарищ Стахов! Сгодится!

Очкарик сцапал с его ладони серьги и сунул в карман.

Боже ты мой! Черт же дернул меня бросить серьги в кастрюлю! Чтоб этой мадам Волчок пусто было!

– Боже мой… – раздался вдруг мамин стон. – Они забирают все, что мы получили за Надю!..

Стоявший рядом анархист в грязных бутсах испуганно попятился:

– Чи сказилась тетенька?

Я тоже не понимала, о чем она говорит, да и не о том думала. Я смотрела на эти бутсы. И вдруг вспомнились слова этого грабителя: «Под крышу запрятала, а шо толку? Я ж все видел!»

Его бутсы, перепачканные в чем-то фиолетовом… Шелковица напротив наших ворот, растоптанное фиолетовое месиво под ней…

Этот анархист следил за нашей дачей! Он забрался на шелковицу и следил за нами! Чердачное окно находится как раз напротив – он видел, как мама прятала жакет! А потом спрыгнул, передавив ягоды, и удрал, чтобы привести своих сообщников.

Может быть, если бы я вернулась с берега чуть раньше, я бы его заметила!

Что-то мелькнуло у меня в голове… почти черные руки парня, который чуть не сшиб меня на горе, эти испачканные бутсы…

Но я не успела связать воедино эти образы: дверь распахнулась, и на пороге появился… Инсаров с револьвером в руке.

Никогда не видела у него такого грозного, устрашающего выражения лица!

Мама испустила пронзительный крик и снова распростерлась на полу без сознания.

– А ну пошли отсюда! – взревел Инсаров, наставляя револьвер на матроса.

Тот растерянно пробормотал:

– А шо, твой шпаер[14 - Так в Одессе в описываемое время называли револьвер.] правдашний?

Инсаров чуть опустил ствол и выстрелил. Пуля вонзилась в пол у самых ног матроса.

– Да ты шо, спятил, товарищ?! – взревел тот и ринулся к двери, толкая своих сообщников, которые, впрочем, тоже понеслись прочь из дому. Инсаров успел выхватить у Комара жакет, из которого продолжали сыпаться монеты и драгоценности, но грабителям уже было не до них. Прогрохотали их шаги по крыльцу, завизжал песок на дорожке, хлопнула садовая калитка – и они исчезли.

Инсаров отмахнул со лба черную прядь, взглянул на меня исподлобья:

– Здравствуйте, На… Елена.

Я только и могла, что молча кивнуть. Сердце колотилось в горле, меня била дрожь, слезы вот-вот готовы были прорваться, но я не смогла бы понять, были это слезы запоздалого облегчения, что мы спасены, или счастья, потому что именно он нас спас.

– Успокойся, – мягко сказал Инсаров и шагнул ко мне.

Сейчас он обнимет меня… я чувствовала это… но мама тихо застонала на полу, и мы отпрянули друг от друга.

Инсаров нагнулся, легко поднял ее на руки и сказал мне:

– Я отнесу ее в комнату, уложу, а вы соберите всё это, – он кивком указал на разбросанные ценности. – Вовремя я появился, ничего не скажешь!

– Храни вас Бог, – простонала мама, которая пришла в себя и сообразила, что случилось. – Мы вас отблагодарим! Отблагодарим!

– Вы успокойтесь, – усмехнулся Инсаров и унес ее в комнату, а я торопливо собрала все то, что раньше было зашито в жакет, кое-как его скомкала и пошла следом.

В голове шумело, мысли метались вразброд: как здесь оказался Инсаров, да еще так вовремя? Откуда у нас столько ценных вещей? Что значили мамины слова, будто они это получили за Надю? За меня? От кого получили?! Но все это захлестывало ощущение огромного счастья: Инсаров! Он здесь! Он спас меня, как тот, настоящий Инсаров спас Елену в романе «Накануне»!

Мама что-то бормотала, всхлипывая, никак не могла прийти в себя. Я смешала с водой изрядное количество валериановых капель, дала ей. Мама было успокоилась, но вдруг вскинулась:

– Они вернутся! Что, если они вернутся?! Надя, мы должны немедленно собираться и уезжать!

– Трамваи уже не ходят, – сообщил Инсаров. – К тому же грабители вас могут подстерегать около дома. Но вы не волнуйтесь. Сюда они не осмелятся сунуться, потому что я останусь здесь до утра, а если вы захотите утром уехать, я вас провожу.

– Благослови вас Бог! – прошептала мама. – Наденька, накорми господина… то есть, извините… товарища?…

– Моя фамилия Тобольский, – сказал Инсаров, от чего у меня, конечно, упало сердце, а он продолжал, обойдя, впрочем, молчанием вопрос, господин он или товарищ: – Не волнуйтесь, я не голоден. А вам бы лучше уснуть сейчас.

Мама встревоженно взглянула на загадочный зеленый жакет, я подложила его ей под подушку. Накрыла маму пледом, и она мгновенно уснула – как была, не раздеваясь, даже не сбросив растоптанные туфли, которые носила на даче. Я стащила их с нее, подоткнула край пледа ей под ноги.

Когда разогнулась и обернулась, Инсарова в комнате уже не было.

Не оказалось его и на кухне.

Неужели ушел?! Но ведь он обещал остаться!

И все же паника одолела меня. Я выскочила на крыльцо…

– Я здесь, – раздался голос из кромешной темноты, воцарившейся в мире. Мерцали только звезды в небе да цветы белого табака, «табачки», как их называли здесь. Облако их чудесного аромата незримо реяло над садом. Цикады – их здесь называли коники – стрекотали упоенно, порой до оглушительного звона!

Я различила смутный силуэт Инсарова, сидящего на садовой скамеечке.

– Иди сюда, – сказал он. – Посиди рядом со мной.

Я неуверенно приблизилась, неуверенно села. Чувства разрывали сердце. Любовь, радость, страх, недоверие…

И он словно бы почувствовал мое смятение, мой душевный трепет.

– Успокойся, – тихо сказал он. – Все кончилось, успокойся.

Осторожно обнял меня, привлек к себе, погладил по голове. Шепнул:

– Распусти волосы. Легче станет.

Я расплела косу – и впрямь, головная боль немного отступила.

Инсаров гладил мои волосы, перебирал их, что-то шептал… Мне послышалось, он шепчет мое имя!

Я в смятении повернулась к нему, он склонился к моему лицу… Внезапно старенькая скамейка покосилась, и мы оба оказались на траве, но едва ли заметили это, потому что Инсаров целовал меня – задыхаясь, жадно, неистово, перемежая поцелуи жарким шепотом:

– Я люблю тебя… люблю! Будь моей женой! Жизнь тебе отдам!

Безумная радость помутила мне голову, я была готова в это мгновение на все, я бы тоже сейчас жизнь ему отдала, а не только ту малость, которую он отыскал между моих ног и которую сначала ласкал рукой, а потом, рывком распахнув мой халат, вторгся туда напряженной плотью. Я едва ли понимала, что он делает, сознавала только, что теперь принадлежу ему навеки. Боль пронзила меня, но я готова была терпеть эту боль, потому что Инсаров не оставлял меня, задыхался, трепетал, бился в меня телом – и вдруг…

Вдруг он с силой придавил меня к земле и выдохнул:

– Царевна моя! Люблю тебя! Анастасия! А-на-ста-сия…

Мне показалось, что нож вонзился… не в тело мое, а в душу.

Инсаров сполз в сторону, пытаясь отдышаться.

Вдруг мне послышался испуганный мамин крик.

Я подхватилась, бросилась в дом, морщась от боли, брезгливо ощущая, что ноги мои влажны, уповая, что мама ничего не заметит.

Свет включать не стала, представляя, какой ужасный у меня вид.

Но мама спала. Видимо, мне и впрямь послышалось.

Я посидела рядом, пытаясь успокоиться.

Наконец набралась храбрости и снова вышла в сад.

Что сказать ему? Что он скажет мне? Объяснит что-нибудь?!

Яркие звезды светили так же, как раньше, так же благоухали, сонно белея в ночи, «табачки», так же тихо, таинственно шуршал листвой сад, но я почувствовала, что сейчас одна здесь… он ушел.

Я плюхнулась на крыльцо, закрыла глаза.

До сих пор было трудно осознать то, что произошло между нами; то, что произошло вечером в нашем доме перед появлением Инсарова. Какие-то детали связывались, сплетались в логическую цепочку – но она снова разрывалась в клочья от боли внизу живота, в сердце…

Не помню, кажется, я задремала. Вдруг женский голос окликнул меня:

– Надя, нынче молоко будете брать чи ни?

Я вскинулась суматошно. Уже рассвело!

У калитки стояла молочница. Она приходила каждое утро с ведром козьего молока.

Я, с трудом владея затекшим телом, поднялась, подошла к калитке:

– Анна Петровна, здравствуйте. Нет, молоко брать не будем, у нас еще осталось. А скажите, вы не знаете… не грабили ночью в поселке? Не появлялись тут анархисты?

– Боже ж с тобой! – обмахнулась она крестным знамением. – Тихо было, я уж почти всех дачников обошла, никто не жаловался. А…

И вдруг она замолчала, уставилась на меня пристально, глаза вытаращила:

– А ты шо такая расхристанная, Надя? Или, сохрани и помилуй, неужто у вас грабители побывали? Вот же ж хвороба! Шо ли обгуляли тебя?!

Я опустила глаза, взглянула на свой халат: с оборванными пуговицами, весь в раздавленной зелени, земле, крови! – и кинулась к дому, чувствуя спиной горящий любопытством, жгучий взгляд молочницы.

Около сломанной скамейки – я помнила, как, когда она сломалась! – валялся какой-то мятый, промокший от росы, замызганный конверт.

Откуда он здесь взялся?

Я подняла его. Он был самодельный, небрежно склеенный из бумаги. Оттуда торчали какие-то газетные вырезки.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

СПБ – Специальная психиатрическая больница. Здесь и далее прим. автора.

2

Сормово вошло в состав Нижнего Новгорода только в 1928 году; в описываемое же время принадлежало Балахнинскому уезду.

3

«Дела плохи, уже запели Марсельезу!» (франц.). Клод Жозеф Руже де Лиль, автор «Марсельезы», которая стала с 1793 г. гимном Франции, произнес эти слова, когда в стране началась Июльская революция 1848 г.

4

Граф Александр Федорович Ланжерон (1763–1831) – французский эмигрант, русский военачальник эпохи Наполеоновских войн, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии с 1815 по 1822 год. Его именем названа та часть Одессы, где некогда находилась его дача.

Иосиф (Осип) Михайлович Дерибас (исп. Хосе де Рибас, 1751–1800) – испанский дворянин по происхождению, русский военный и государственный деятель, основатель Одесского порта и города Одессы. В его честь названа центральная улица города.

5

Петр Петрович Шмидт (1867–1906) – уроженец Одессы, революционный деятель, один из руководителей Севастопольского восстания 1905 г. После подавления восстания расстрелян на острове Березань по приговору военно-полевого суда вместе с тремя матросами, своими ближайшими сподвижниками.

6

Гои – не евреи.

7

На базе этого киноателье в свое время создавалась кинофабрика, а затем и знаменитая Одесская киностудия.

8

Золотом (одесск.).

9

Железная дорога с конной тягой, проложенная по городским улицам, – предшественница трамвая.

10

На иврите это восклицание соответствует русскому «Боже мой!»; буквально переводится как «Больно мне!».

11

Среди остальных (одесский жаргон).

12

Так в описываемое время назывался папиросный фильтр.

13

В описываемое время так обыватели называли гранаты-лимонки.

14

Так в Одессе в описываемое время называли револьвер.

Купить: https://tellnovel.com/ru/elena-arseneva/proklyatie-bezumnoy-carevny

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить